Максим Гуреев
Жить между двумя островами
Биография: опыт прочтения
Иосиф Бродский
ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Эпоха великих людей

Максим Гуреев

Иосиф Бродский. Жить между двумя островами

«АСТ»
2017

УДК 821.161.1.09 Бродский И.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Бродский И.

Гуреев М. А.

Иосиф Бродский. Жить между двумя островами /
М. А. Гуреев — «АСТ», 2017 — (Эпоха великих людей)

ISBN 978-5-17-097641-6

Новая биография русского поэта и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Биографический жанр – особый. Факты, события, сменяющие друг друга, попытка реконструировать жизнь поэта сама по себе абсурдна, на первый взгляд, однако писатель Максим Гуреев, с присущей ему деликатностью, сумел из Мифа сотворить Легенду… Максим Гуреев закончил филфак МГУ и семинар прозы Андрея Битова в Литинституте. Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь». Режиссер документального кино, автор более 60-ти картин. Член русского ПЕН-центра.

УДК 821.161.1.09 Бродский И.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Бродский И.

ISBN 978-5-17-097641-6

© Гуреев М. А., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Коммос 6
Эписодий Первый 9
Эписодий Второй 18
Эписодий Третий 27
Эписодий Четвертый 35
Интродукция перед Пятым Эписодием 43
Конец ознакомительного фрагмента. 54

Максим Александрович Гуреев
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами

Я хочу, чтобы вы отметили различие
между устрашающим и трагическим.
Иосиф Бродский

© М.А. Гуреев, 2017
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Коммос

В древнегреческой трагедии скорбный плач, который играет роль кульминации и одновременно финального обобщения.

– Мы очень сожалеем о случившемся, но просим вас сконцентрироваться и подробно рассказать о том, что произошло в ночь с 27 на 28 января 1996 года.

– Мне очень трудно сейчас говорить об этом.

– Мы приносим вам свои искренние соболезнования, но нам необходимо соблюсти процедуру и по возможности восстановить ход всех событий этой печальной ночи.

– Хорошо, я постараюсь, но мне очень тяжело, я могу ошибаться.

– Ничего страшного, мы слушаем вас.

– В субботу вечером он собирал рукописи и книги, он готовился к началу семестра.

– Почему господин Бродский этим занимался именно в субботу вечером, ведь занятия начинались только в понедельник, и впереди было еще воскресенье?

– Ну что вы! Он был очень щепетилен в этих вопросах и всегда готовился к занятиям заблаговременно.

– Понятно. Пожалуйста продолжайте.

– Потом, когда все было собрано, он сказал, что ему нужно еще поработать. Он пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе в кабинет.

– В поведении господина Бродского было что-то необычное, как вам показалось?

– Нет, пожалуй, все было как всегда. Хотя, конечно, он выглядел усталым, очень усталым…

– Почему?

– В последнее время он плохо себя чувствовал. Он мне не говорил, конечно, но я видела это.

– Вы говорите о его душевном состоянии или физическом?

– Я говорю о его больном сердце…

– Что было потом?

– А потом я обнаружила его только утром, мне невыносимо тяжело об этом вспоминать…

– Вы слышали ночью какой-то шум?

– Нет.

– Нет – вы его не слышали, или этого шума не было?

– Я не слышала, я спала.

– Мы понимаем, что вам трудно, но просим вас подробно рассказать о том, что вы увидели, когда утром вошли в кабинет господина Бродского. Это очень важно.

– Иосиф лежал на полу. Он был полностью одет.

– Значит, он не ложился спать, не собирался ложиться?

– Получается, что так.

– Скажите, как он лежал: лицом вниз или вверх?

– Не могу точно сказать, кажется, лицом вверх, а его очки лежали на столе рядом с книгой.

– Что это была за книга?

– Греческие эпиграммы.

– Прибывший на место происшествия утром 28 января наряд полиции показал, что тело господина Бродского лежало лицом вниз, а его очки разбились. Как бы вы это могли объяснить?

– Не знаю…

– Вы переворачивали тело до приезда полиции?

– Нет… я не помню… это ужасно…

– Мы сочувствуем вам, но еще один очень важный вопрос – ночью 27 января господин Бродский совершал телефонные звонки кому-либо?

– Нет, не совершал.

– А мы располагаем информацией, что господин Бродский звонил господину Барышникову. Что вы знаете об это звонке?

– Ничего не знаю! Оставьте меня в покое! Я сказала вам все, что смогла вспомнить! Мне очень тяжело сейчас, вы это можете понять?

– Конечно, мэм, конечно, можем. Но мы всего лишь делаем свою работу.

1 февраля 1996 года в Епископальной приходской церкви Благодати в Бруклине прошло отпевание Иосифа Бродского. На следующий день гроб с телом покойного был временно помещен в склепе, расположенном на кладбище при храме Святой Троицы, что на берегу Гудзона, где он находился до июня 1997 года.

21 июня 1997 года тело поэта было перезахоронено на протестантской части кладбища Сан-Микеле, расположенного на острове имени Святого Михаила Архангела в Венецианской лагуне.

На деревянном кресте было написано – Joseph Brodsky.

Впоследствии крест был заменен каменным памятником в античном стиле, изображение креста на котором предусмотрено не было.

Joseph Brodsky.
Stockholm.
1987.
Nobel lecture:

«Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется, “урби эт орби” с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что – по причинам прежде всего стилистическим – писатель не может говорить за писателя, особенно – поэт за поэта; что, окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден, они невольно бы говорили за самих себя, и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость. Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности. Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были, заставляют меня часто – видимо, чаще, чем следовало бы – сожалеть о движении времени. Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой – если тот свет существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится…».

Лекция длится 29 мин 57 секунд.

Затем под аплодисменты Joseph Brodsky сходит с трибуны.

Хор тоже покидает орхестру вслед за сыном Эсона и Полимеды, предводителем аргонавтов Ясном:

Никто никогда не знает, что боги готовят смертным.
Они способны на все: и одарить несметным,
и отобрать последнее, точно за неуплату.
оставив нам только разум, чтоб ощущать утрату.
Многоязыки боги, но с ними не договориться,
Не подступиться к ним, и от них не скрыться:
боги не различают между дурными снами
и нестерпимой явью.
И связываются с нами.

По крайней мере так это описано в Прологе и Хорах из трагедии Еврипида «Медея», переводом которых Иосиф Александрович Бродский занимался незадолго до своей смерти.

Эписодий Первый

В древнегреческой драме эписодий представляет собой речевую сцену, расположенную между партиями хора, равнозначен явлению в новой драме.

1984 год. Литейный проспект. Дом № 24. Квартира № 28.

Посреди комнаты на стуле сидит пожилой человек и смотрит программу «Время».

Диктор Вера Шебеко зачитывает медицинское заключение о болезни и причине смерти Председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова, скончавшегося в возрасте 69-ти лет 9 февраля 1984 года в 16 часов 50 минут.

Пожилой человек думает о том, что он старше Андропова на 11 лет, и вот его – Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя КГБ СССР уже нет, а он еще жив.

Потом начинается показ траурных митингов, на которых трудящиеся страны произносят торжественные слова, опускают глаза долу, замирают в скорбном молчании под гудки заводских сирен.

Пожилой человек подходит к телевизору и выключает его. В комнате, разгороженной декоративной стеной, наступает тишина.

Вернее сказать, в полутора комнатах, что получились в результате этой замысловатой выгородки, наступает давящая тишина, которую усиливают мавританского стиля буфеты из черного лакированного дуба. Они уходят куда-то под потолок, словно пытаются прорасти к соседям сверху (те не знают об этом). Они напоминают небоскребы в Нью-Йорке, которые пожилой человек, разумеется, никогда не видел, но их ему показывали в передаче «Международная панорама».

В недрах этих циклопических размеров сооружений из черного лакированного дуба хранится вся прежняя жизнь и даже та жизнь, которая была до нее, до прежней.

Доисторическая жизнь, то есть.

Список предметов (они же музейные экспонаты) может выглядеть следующим образом и, что понятно, всегда будет требовать своих дополнений:

– старые фотоаппараты – ФЭД-НКВД, «Москва-4», «Зенит-С», «Салют»
– кюветы и бачки для проявки и печати снимков
– фотоувеличители «Ленинград» и «Нева»
– старые журналы «Огонек»
– посуда, фарфор
– белье, скатерти
– серебряные бритвы «Золинген»
– красные фотофонари
– обувные коробки с ботинками, в которые вставлены деревянные колодки
– инструменты
– старые морские кители
– бинокли, объективы
– шляпы, фуражки
– кинопроектор «Veimar 3» для пленки 8 мм
– круглая коробка с целлулоидными и хлопчатобумажными подворотничками
– разноцветные кимоно
– черный гипсовый бюст Ленина
– мраморный бюст женщины в чепце (вероятно, Крупской)
– карманные фонари, по большей части уже не работающие

– коробки с правительственными наградами

– фотографический портрет товарища Сталина, выполненный фотографом Андреем Петровым и по неосторожности залитый чернилами

– папки с почетными грамотами

– книги

– фаянсовые изваяния

…что-то еще, разумеется, но нет ни желания, ни сил вспоминать все это.

Пожилой человек возвращается к стулу, стоящему посреди комнаты, садится на него и смотрит в потухший экран телевизора, в котором он видит свое мутное, нерезкое отражение.

Рекомендуется далее: Александр Израилевич (Иванович по понятным причинам) Бродский, родился в 1903 году в Петербурге на углу Газа и Обводного канала. В 1924 году окончил географический факультет Ленинградского университета, а затем Институт красных журналистов. В апреле 1940 года был прикомандирован к Политическому управлению 8-ой армии, к армейской многотиражке «Ленинский путь» в качестве фотокорреспондента. Участвовал в боевых действиях с финнами. Приказом Военного Совета Ленинградского военного округа от 15 марта мне была вынесена благодарность как участнику войны за безопасность северо-западных границ СССР и города Ленина.

Моя жена – Мария Моисеевна Вольперт, 1905 года рождения.

Скончалась в прошлом году…

Из автобиографии Марии Вольперт:

«Я родилась в семье мещанина Вольперт Моисея Борисовича в г. Двинске (ныне Даугавпилс). Семья наша состояла из семи человек – отец, мать и 5 детей. Детство мое ничем не отличалось от детства миллионов других детей. Отец работал, мать растила ребятишек. Во время Первой империалистической войны семья наша вынуждена была бежать из Двинска от наступавших тогда немцев, и в качестве беженцев, проскитавшихся на Украине около года, мы переехали в Ленинград».

Александр Израилевич (Иванович) продолжает рекомендоваться: 25 мая 1940 года у нас родился сын, которого мы назвали Иосифом.

Войну я прошел фотокорреспондентом «Известий», ЛенТАСС, а также сотрудничал с газетами «Советская Балтика», «Моряк Балтики», «Северо-Западный водник».

Снимал блокадный Ленинград, а также участвовал в прорыве блокады в начале 1943 года.

В 1944 году от газеты «Известия» перевелся на Черноморский флот. Принимал участие в десанте на Малой земле. Войну закончил в Румынии.

В 1945 году был откомандирован на Дальний Восток, на войну с Японией.

В Ленинград вернулся в 1948 году в звании капитана 3-го ранга и был направлен на работу в Военно-морской музей, где заведовал фотолабораторией.

В 1950 году в ходе ждановских «чисток» офицерского корпуса от лиц еврейской национальности был демобилизован. После 1953 года работал фотографом и журналистом в ленинградских газетах и Балтийском морском пароходстве. Впоследствии возглавлял общественный факультет фотожурналистики при Ленинградском доме журналистов.

В 1957 году перенес инфаркт…

Наконец, Александр Иванович отрывает свой взгляд от подслеповатого экрана.

Наверное, сюжет о кончине Юрия Владимировича Андропова там уже закончился, и можно включить телевизор.

Так оно и есть – передают прогноз погоды:

– Завтра на Камчатке и на Сахалине –5, –10, возможна метель, штормовой ветер.

В Магаданской области –28, –33.

В Якутии –35, –40 градусов.

В Приморском крае и в Читинской области –2, –7…

Как в Ленинграде.

Впрочем, это и понятно – морской климат.

А что было потом?

А потом Александр Иванович ложился на огромную двуспальную кровать, купленную по дешевке Марией Моисеевной еще в 1935 году, подкладывал руки под голову и смотрел в потолок, украшенный гипсовой лепниной в мавританском стиле, испещренный трещинами и разводами от протечек.

Потолок напоминал карту.

Каждый вечер в это время (под прогноз погоды) по телевизору звучала мелодия «Manchester et Liverpool» (а ведь никто и не догадывался тогда, что эту песню исполняла французская певица и актриса Мари Лафоре), но сегодня этой мелодии, от которой всякий раз хотелось плакать, не было, потому что вся страна скорбела и могла слушать только классические сочинения Чайковского, Глинки, Бородина и Модеста Петровича Мусоргского.

Действительно, потолок напоминает карту мира, и откуда-то оттуда, из самой ее глубины, из сердцевины, из этих трещин, отвалившейся побелки и гипсовой лепнины, вчера позвонил Иосиф.

– Папа, представляешь, – голос сына звучал бодро, и это не могло не радовать отца, – вчера мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что мне нужно отсюда, из Гринвич-Виллиджа, отправиться куда-то на 120-ю или 130-ю улицу. И для этого мне надо сесть в метро. А когда я подхожу к метро, то вдруг вижу, что весь этот Бродвей – то есть отсюда, скажем, Гарлема или даже дальше – поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица внезапно превратилась в жуткий небоскреб. И поэтому метро перестает быть метро, а становится лифтом. И я поднимаюсь куда-то, ощущая при этом, что Бродвей становится на попа! Ты представляешь?

– Конечно, – отвечал Александр Иванович и даже пытался вообразить себе эту фантасмагорическую картину здесь, в Ленинграде.

– Это было потрясающее зрелище, – звучал голос на другом конце провода. – И доехав таким образом до 120-й улицы, я выхожу из лифта на перекресток, как на лестничную площадку. Это был совершенно новый для меня масштаб сна, папа!

Нет, представить себе такое на Невском абсолютно невозможно, ведь тогда Адмиралтейство нависнет над Александро-Невской лаврой, или, наоборот, Лавра нависнет над Адмиралтейством, и обрушение станет неизбежным, что приведет к многочисленным жертвам и хаосу.

Александр Иванович встает с кровати и проходит во вторую полу-комнату, где раньше он занимался проявкой и печатью фотографий.

К этому занятию своего мужа Мария Моисеевна всегда относилась со сдержанным пониманием, ведь порой фотографирование было единственным источником дохода семьи Бродских. Другое дело, что ей постоянно казалось, что Сашу обманывают и не доплачивают, или что он ее обманывает, а при таком повороте дел семейные ссоры были неизбежны.

Теперь ее нет.

Она умерла в 1983 году, посвятив последние одиннадцать лет своей жизни бесполезным попыткам встретиться со своим сыном.

Она писала письма, посещала ОВИРы, снова писала письма, кому-то звонила, с кем-то встречалась.

Конечно, она знала, что существует такое письмо:

«Дорогая мама!

Это письмо официально подтверждает, что я приглашаю приехать тебя ко мне в Соединенные Штаты следующей весной. Я хотел бы, чтобы ты приехала на месяц, то есть на

четыре недели где-нибудь в марте. Я оплачу твои дорожные расходы, а также твои расходы во время твоего пребывания здесь, в Соединенных Штатах. Разумеется, ты будешь жить со мной в Анн-Арборе, Мичиган, месте моего пребывания. Это письмо является частью официального приглашения, или вызова, требуемого ОВИРом».

А еще она уже знала, что больна, но надежды не теряла и до последнего дня была уверена, что увидит своего Иосифа.

Из эссе Иосифа Александровича Бродского «Полторы комнаты»:

«Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в браке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем водится, из-за внешности. Она была определенно очень привлекательна североевропейским, я бы сказал, прибалтийским обликом. В некотором смысле это было милостью судьбы: у нее не возникало проблем с устройством на работу. Зато она и работала всю сознательную жизнь. По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуазное происхождение, она вынуждена была отказаться от всякой надежды на высшее образование и прослужить всю жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером. Война принесла перемены: она стала переводчиком в лагере для немецких военнопленных, получив звание младшего лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей было предложено повышение и карьера в системе этого министерства. Не сгорая от желания вступить в партию, она отказалась и вернулась к сметам и счетам. “Не хочу приветствовать мужа первой, – сказала она начальству, – и превращать гардероб в арсенал”. Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса – мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом. За исключением Кисы все они были ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопротивление. “Не смейте называть меня так! – восклицала она сердито. – И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!” Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению… Имя Киса все-таки к ней пристало, в особенности когда она совсем состарилась. Круглая, завернутая в две коричневые шали, с бесконечно добрым, мягким лицом, она выглядела вполне плюшевой и как бы самодостаточной. Казалось, она вот-вот замурлычет. Вместо этого она говорила отцу: „Саша, заплатил ли ты в этом месяце за электричество» Или, ни к кому не обращаясь: “На следующей неделе наша очередь убирать квартиру”. И это значило мытье и натирку полов в коридорах и на кухне, а также уборку в ванной и в сортире. Ни к кому не обращалась она потому, что знала: именно ей придется это проделать».

Нет, Александр Иванович уже давно не фотографировал, не проявлял пленку и не печатал фотографии.

Вполне возможно, что и заблуждался на сей счет, но твердо находил это занятие избыточным и в высшей степени бессмысленным в его годы. Все уже давно снято, право, зачем смешить людей и бегать перед ними с фотографическим аппаратом, пусть этим занимаются молодые, которым он передал свой богатый опыт. Без остатка!

Каждый следующий день Бродского-старшего был похож на предыдущий, и в этом он видел смысл своего нынешнего существования – соблюдение режима, то, чему его всю жизнь учили на службе, то, чему он потом учил других.

Сына, в первую очередь…

Сейчас он садится в кресло рядом с письменным столом, на котором теперь вместо печатной машинки Иосифа стоит ламповый электрофон «Юность».

Здесь же стопка пластинок: «Черноморская песня», «Лунный вечер», «Иоланта», «Чико-Чико но Фуба», «Песни советских композиторов», «Евгений Онегин», «Рождественская оратория» Баха.

Когда они жили вместе, почему-то именно Бах вызывал особенное его раздражение. Может быть, потому что ритм той жизни был совершенно другим, а «Рождественская оратория» настойчиво требовала остановиться, перевести дыхание, успокоиться, увидеть то, что было скрыто от взгляда пожелтевшими от времени пачками газеты «Правда» и «Красная звезда». Это, разумеется, возмущало, воспринималось как неуместный дидактизм и заканчивалось скандалом, потому что Иосиф наотрез отказывался выключать эту невыносимую музыку.

Конечно, иногда приходилось прибегать и к услугам ремня. Особенно когда сын остался на второй год, получив двойки по точным наукам и английскому.

Отец понимал, что Иосиф сделал это специально, но не понимал, зачем он это сделал специально.

Как, например, не понимал, зачем его сын написал это:

Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.

Теперь, когда они уже давно не виделись, и надежда на то, что им вообще суждено увидеться, таяла с каждым днем, Александр Иванович приходил к такому убеждению: в том, что он не мог понять своего сына, не было ничего страшного, непереносимого и преступного. Это было естественно, потому как хоть они и были родными людьми, они были разными людьми.

Конечно, жаль, что он понял это так поздно.

И вот теперь отец включает электрофон «Юность» и ставит на него «Рождественскую ораторию».

Из интервью Иосифа Бродского:

«В принципе я думаю, что… просто я был частью его, по сути я – это он. Отец был человеком принципа “или – или”, как, впрочем, и все их поколение. Мы же себя очень уважаем за то, что мы люди нюансов. Нам кажется, что мы больше понимаем, больше знаем, что мы лучше чувствуем и т. д. В то время как, если уж говорить совершенно серьезно, то вот эти их “или – или” включали в себя всю ту амплитуду, которую мы артикулируем очень подробно и детально, но это и приводит нас к такому, как бы сказать, состоянию полной импотенции по отношению к действительности. А те люди при всем том, могли совершать какие-то выборы. Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил. И еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический

момент, кровный. Я действительно думаю, что “он” – это я. Ведь пока они живы, мы думаем, что мы – другие, что мы – это что-то самостоятельное, а мы на самом деле – часть той же самой ткани».

Музыка звучит ровно, накатывает волнами, и Александр Иванович засыпает, сидя в кресле.

Ему снится сон, будто он в сумерках переходит Дворцовый мост.

Проезжая часть пуста, и поэтому можно безбоязненно идти к колоннаде Военно-морского музея мимо мигающих светофоров. Совершенно непонятное время года – то ли ранняя весна, то ли солнечная теплая осень, из тех дней, которые в Ленинграде можно пересчитать по пальцам одной руки.

Он поднимается по лестнице и видит Иосифа с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку. Сын открывает отцу огромную двустворчатую дверь, и они входят в здание музея. Однако, оказавшись тут, он не обнаруживает хорошо знакомых ему экспонатов. На самом же деле Иосиф вводит отца в Парфенон, где из-за колоннады появляется хор, который движется слева направо и исполняет строфу из Пролога к «Антигоне»:

Никто никогда не знает, откуда приходит горе.
Но потому что нас окружает море,
на горизонте горе заметней, чем голос в хоре.

Оно приходит в Элладу чаще всего с Востока.
Волны податливы, и поступь его жестока.
Оно находит дорогу, ибо оно стооко.

Но будь оно даже слепо, будь освещенье скудно,
горю дорогу в море к нам отыскать нетрудно,
ибо там наследило веслами наше судно.

– Ты же знаешь, как я люблю в музее ту часть экспозиции, которая посвящена парусному флоту, – обращаясь к сыну, говорит Александр Иванович.

– Конечно, папа, знаю, – отвечает с улыбкой Иосиф и тут же начинает перечислять: – Модель английского 50-пушечного фрегата «Седжмур», модель 20-пушечного шлюпа «Солебей», модель яхты «Дружба» 1826 года, модель 25-баночной галеры «Двина», модель гребного фрегата «Евангелист Марк», модель Сиракузской трехмачтовой пентеры…

А потом отец и сын возвращаются домой. По пути они заходят в магазины, покупают продукты, а также фотопринадлежности – пленку, реактивы, фотобумагу.

Наконец, Иосиф и Александр Иванович останавливаются перед Домом книги на Невском.

Переглядываются.

– Зайдем?

– Зайдем…

И вот Иосиф в мундире капитана 3-го ранга с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку поднимается по парадной лестнице магазина на второй этаж, туда, где продаются книги по искусству. Он выбирает альбом фотографий Миши Барышникова и вручает его отцу.

Александру Ивановичу снится, как он смотрит фотографии Барышникова, на которых изображен его сын. Ему нравится работа фотографа, ведь он сам фотограф и прекрасно чув-

ствует руку мастера, но при этом он решительно не понимает, почему на этих карточках его сын такой старый и лысый.

Он резко оборачивается к Иосифу:

– Скажи честно, ты продолжаешь смолить как паровоз?

– Да, отец, – звучит в ответ, – продолжаю.

– Это очень плохо, врачи запретили тебе курить, – лицо отца мрачнеет.

– Да, я знаю, но…

– Нет, Иосиф, дело даже не в том, что ты огорчил меня, и не в том, что ты не выполняешь предписания врачей, а в том, что ты сейчас очень огорчил нашу маму…

Александр Иванович открывает глаза.

Игла уже давно зависла над остановившейся пластинкой «Рождественская оратория» И.-С. Баха.

А ведь этот электрофон, кажется, был приобретен вместо радиоприемника «Филипс», чей удел оказался незавиден…

Из эссе Иосифа Бродского «Трофейное»:

«Когда мне было двенадцать лет, отец, к моему восторгу, неожиданно извлек на свет божий коротковолновый приемник. Приемник назывался “филипс” и мог принимать радиостанции всего мира – от Копенгагена до Сурабаи. Во всяком случае, на эту мысль наводили названия городов на его желтой шкале. По меркам того времени “филипс” этот был вполне портативным – уютная коричневая вещь 25х35 см, с вышеупомянутой желтой шкалой и с похожим на кошачий, абсолютно завораживающим зеленым глазом индикатора настройки. Было в нем, если я правильно помню, всего шесть ламп, а в качестве антенны хватало полуметра простой проволоки. Но тут и была закавыка. Для постового торчащая из окна антенна означала бы только одно. Для подсоединения приемника к общей антенне на здании нужна была помощь специалиста, а такой специалист, в свою очередь, проявил бы никому не нужный интерес к вашему приемнику. Держать дома иностранные приемники не полагалось – и точка. Выход был в паутинообразном сооружении под потолком, и так я и поступил.

Конечно, с такой антенной я не мог поймать Братиславу или тем более Дели. С другой стороны, я все равно не знал ни чешского, ни хинди. Программы же Би-би-си, “Голоса Америки” и радио “Свобода” на русском языке все равно глушились. Однако можно было ловить передачи на английском, немецком, польском, венгерском, французском, шведском. Ни одного из них я не знал. Но зато по “Голосу Америки” можно было слушать программу “Time for Jazz”, которую вел самым роскошным в мире бас-баритоном Уиллис Коновер.

Этому коричневому, лоснящемуся, как старый ботинок, “филипсу” я обязан своими первыми познаниями в английском и знакомством с пантеоном джаза. К двенадцати годам немецкие названия в наших разговорах начали исчезать с наших уст, постепенно сменяясь именами Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Клиффорда Брауна, Сиднея Беше, Джанго Райнхардта и Чарли Паркера. Стала меняться, я помню, даже наша походка: суставы наших крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Видимо, не один я среди моих сверстников сумел найти полезное применение метру простой проволоки. Через шесть симметричных отверстий в задней стенке приемника, в тусклом свете мерцающих радиоламп, в лабиринте контактов, сопротивлений и катодов, столь же непонятных, как и языки, которые они порождали, я, казалось, различал Европу. Внутренности приемника всегда напоминали ночной город, с раскиданными там и сям неоновыми огнями. И когда в тридцать два года я действительно приземлился в Вене, я сразу же ощутил, что в известной степени я с ней знаком. Скажу только, что, засыпая в свои первые венские ночи, я явственно чувствовал, что меня выключает некая невидимая рука где-то в России.

Это был прочный аппарат. Когда однажды, в пароксизме гнева, вызванного моими бесконечными странствиями по радиоволнам, отец швырнул его на пол, пластмассовый ящик

раскололся, но приемник продолжал работать. Не решаясь отнести его в радиомастерскую, я пытался, как мог, починить эту похожую на линию Одер – Нейсе трещину с помощью клея и резиновых тесемок. С этого момента, однако, он существовал в виде двух почти независимых друг от друга хрупких половинок. Конец ему пришел, когда стали сдавать лампы. Раз или два мне удалось отыскать, через друзей и знакомых, какие-то аналоги, но даже когда он окончательно онемел, он оставался в семье – покуда семья существовала».

В 1972 году Иосиф уехал из страны.

В 1983 году умерла Маруся.

Семьи больше нет.

29 апреля 1984 года, сидя на стуле посреди комнаты перед телевизором, от сердечного приступа в возрасте 81 года скончается Александр Израилевич Бродский.

Таким его и обнаружит сосед по коммуналке.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:

«Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем человеческим меркам следовало признать выродками. Чего, однако, не произошло. И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать. Рано утром, когда в небе еще горели звезды, мальчик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет был приколот к стене над его еще теплой постелью, бежал по заснеженной гранитной набережной в школу. Широкая река лежала перед ним, белая и застывшая, как язык континента, скованный немотой, и большой мост аркой возвышался в темно-синем небе, как железное небо. Если у мальчика были две минуты в запасе, он скатывался на лед и проходил двадцать-тридцать шагов к середине. Все это время он думал о том, что делают рыбы под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал сломя голову до самых дверей школы. Он влетал в вестибюль, бросал пальто и шапку на крюк и несся по лестнице в свой класс. Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом Вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным. Мальчик садится на место, расстегивает портфель, кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает лицо и приготавливается слушать ахинею».

Хор неподвижно стоит на ступенях Военно-морского музея (он же Биржа, он же Парфенон) и поет на французском языке (в древнегреческой драме это неподвижное исполнение называется *стасим*):

Manchester et Liverpool
Je me revois flânant le long des rues
Au milieu de cette foule
Parmi ces milliers d'inconnus
Manchester et Liverpool
Je m'en allais dans tous les coins perdus
En cherchant ce bel amour
Que près de toi j'avais connu

Je t'aime, je t'aime
Que j'aime ta voix
Qui me disait:

«Je t’aime, je t’aime»
Et moi j’y croyais tant et plus…

Антифоном звучит голос диктора Центрального телевидения Веры Шебеко:

– По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра в Нечерноземье ожидается 5–7 градусов тепла, в среднем Поволжье плюс 7 – 10, дожди, в Мурманской области и Карелии плюс 6–8, в Ленинграде такая же температура, кратковременный дождь, возможна гроза.

Эписодий Второй

5 марта 1953 года Иосиф проснулся, как всегда, по звонку будильника.

С трудом выбрался из-под одеяла.

Выглянул в окно – темно, тускло горят уличные фонари.

Долго стоял перед рукомойником.

Ковырял пальцем зубной порошок «Экстра». Думал о том, что он похож на пудру, которой пользовалась мать. Зачем-то вымазал им щеки.

В комнате на столе его уже ждал завтрак – яйцо и чай.

Жевал безо всякого удовольствия, давился кипятком.

По радио передавали новости, а потом пел дважды краснознаменный хор имени Александрова.

Со словами «иди уже, а то опоздаешь», мать провожала сына по коридору.

Иосиф выходил на лестничную площадку, дверь захлопывалась за ним, чем тут же и обрезала звуки хорового пения.

Брел мимо Спасо-Преображенского собора.

Здесь, в подвале, по рассказам матери, они прятались во время бомбежки, а его, годовалого, укладывали в свечной ящик, где он спал.

Переходил Литейный в сторону Фонтанки.

На улице почти никого не было.

Сворачивал в Соляной переулок и натыкался взглядом на светящееся в утренней мартовской мгле здание школы, напоминавшее пассажирский четырехпалубный лайнер.

Отец рассказывал сыну, что после войны многие пассажирские пароходы СССР получил по репарации от Германии. Например, самый крупный советский паротурбоход «Советский Союз» был построен в Гамбурге и назывался «Albert Ballin».

Иосиф останавливался на какое-то время, раздумывая, идти ли ему на первый урок. При этом он отчетливо представлял себе красное венозное лицо исторички, секретаря парторганизации школы Лидии Васильевны Лисицыной, которая, поймав на несделанном домашнем задании, начинала истошно орать: «Вон из класса, слабоумный!», а орден Ленина, приколотый у нее на пиджаке (как говорили, самим Ждановым), начинал трястись, будто бы от страха. И это было невыносимо смешно, ведь в школе учили, что Ленин ничего не боится.

Поморщился.

Представил себе, что пассажирский четырехпалубный лайнер издал протяжный гудок как при отплытии и начал выполнять маневр разворота.

Иосиф развернулся и быстро пошел к Фонтанке.

Здесь спустился на лед, под которым плавали невидимые рыбы.

Рыбы зимой живут.
Рыбы жуют кислород.
Рыбы зимой плывут,
Задевая глазами лед.
Туда.
где глубже.
Где море.
Рыбы.
рыбы.
рыбы.
Рыбы плывут зимою.

Рыбы хотят выплыть.
Рыбы плывут без света.
Под солнцем
зимним и зыбким.
Рыбы плывут от смерти
Вечным путем
рыбьим.
Рыбы не льют слезы;
Упираясь головой
в глыбы,
В холодной воде
Мерзнут
Холодные глаза
Рыбы.
Рыбы
всегда молчаливы…

Если бы родители узнали, что он вышел на лед, отец, наверное, убил бы его.

Но так как тут нет ни души, то никто об этом и не узнает.

Только невидимые рыбы, но они, слава Богу, не умеют говорить, они *молчаливы*.

Время пролетело незаметно, и надо возвращаться в школу, ко второму уроку.

Иосиф уже придумал, что ответить на обвинения в прогуле занятий – сломался будильник, а родители рано ушли на работу.

Однако уже в вестибюле он почувствовал что-то неладное. Особенно это стало очевидным, когда в коридоре Иосиф наткнулся на Лисицыну. Приготовился объясняться, выслушивать ругань в свой адрес, но она вместо того, чтобы орать за опоздание, сдавленно бросила ему: «Бродский, немедленно поднимайся в актовый зал».

В глазах у нее стоят слезы.

А ведь никогда и не думал, что она умеет плакать!

Актовый зал был набит битком.

Такого Иосиф еще никогда не видел.

Что-то немыслимо гнетущее, замогильное висело в воздухе.

Терпко пахло навощенным паркетом, табаком и потом.

Лисицына медленно поднялась на сцену и страшным гробовым голосом выдавила из себя:

– На колени!

По залу разнесся гул недоумения.

Это мать рассказывала, что в Спасо-Преображенском соборе люди иногда встают на колени, когда молятся, а раньше ставили на горох в качестве наказания.

Гул недоумения накатывает, но тут же и затихает, словно натыкается на невидимую стену.

– Я сказала – на колени! – срывается на пронзительный бабский визг историчка, лицо ее перекашивает судорога, уже при одном виде которой все как подкошенные валятся на пол – ученики, учителя, уборщицы, безногий сторож-инвалид дядя Миша, у которого этих коленей и нет, а есть протезы.

– Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!

И все начинают плакать под «Marche funebre» Шопена, который уже включил школьный радист Галимзянов.

Из эссе Иосифа Бродского «Размышления об исчадии ада»:

«И люди заплакали. Но они плакали, я думаю, не потому, что хотели угодить “Правде”, а потому, что со Сталиным была связана (или, лучше сказать, он связал себя с нею) целая эпоха. Пятилетки, конституция, победа на войне, послевоенное строительство, идея порядка – сколь бы кошмарным он ни был. Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, – как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть – от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди взрослели, женились, разводились, рожали, старились, умирали, – и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать. Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал».

Когда Иосиф вернулся домой, то обнаружил, что в коммунальной квартире, где он жил с родителями, все тоже рыдают.

Плакала и мать.

Было что-то сюрреалистическое в этом безутешном плаче, в этом настоящем вое с заламыванием рук, с возгласами «увы мне!», в этом массовом психозе, который так напоминал хор из Пролога трагедии Еврипида «Медея»:

Снова слышен тот стон, безутешный плач.
Не удержать боль, хоть за стену прячь.
То с остывшего ложа, где бред горяч,
шлет проклятия мужу Колхиды дочь
и к Фемиде взывает, увлекшей дочь
ее из дому, чтоб, говорят, помочь
мореходам вернуться, спустя года,
к тем, кто ждал их там, как ее – беда,
к берегам Эллады родной – туда,
где пучина гонит свой вал крутой,
и предела нет у пучины той.

Только отец лежал на кровати и с невозмутимым видом перелистывал «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Альбертовича Куна. Отец увлекался древностью, находя ее возвышенной, благородной, почти идеальной и достойной всяческого подражания.

Заметив сына, он подмигнул ему и загадочно улыбнулся.

Нет, Александр Иванович никогда не потакал своему сыну, видел в нем разгильдяя и бездельника, был с ним строг и требователен, опять же, не чурался и телесных наказаний, а в гневе бывал страшен, но при этом между ними существовала какая-то таинственная, недоступная для понимания чужих связь, взаимопонимание, которое никогда не выпячивалось, дружба, которая как будто бы и скрывалась от постороннего докучливого взора.

Так, однажды, когда вопрос об отчислении Иосифа из школы был практически решен, Бродского-старшего вызвали на педсовет, чтобы поставить его в известность и высказать ему все о его непутевом сыне. Выслушав неистовых критиков, Александр Иванович встал и неожиданно для всех принялся горячо защищать своего мальчика. Потрясение педагогов было столь велико, что они так и не смогли ничего возразить капитану 3-го ранга. Иосиф был оставлен в школе.

С 1947 по 1955 год он поменял пять школ.

Спустя годы Иосиф Бродский скажет: «Я бросил школу в возрасте пятнадцати лет. Это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Сделать это

было трудно из-за родителей, из-за того, что ты сам страшишься неведомого. И вот однажды без всякой видимой причины я встал среди урока и мелодраматически удалился. Это был инстинктивный поступок…»

Тогда удалился на Обводный по Нарвскому проспекту и пошел в сторону Балтийского вокзала.

При этом то и дело подходил к парапету, перевешивался через него и смотрел на воду.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Шел вдоль Обводного канала и снова думал про рыб, которые плывут в глубине и сейчас, вероятно, смотрят на него.

Вот они как-то пережили блокаду, войну, зиму и теперь перемещаются в поисках корма, изредка поднимая глаза вверх (исключительно любопытства ради). Старо-Петергофский, Розенштейна, Шкапина давали о себе знать пронзительными сквозняками, что вырывались из уличных проемов, более напоминавших ущелья, в которых жили первобытные люди.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:

«Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный – и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое, жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон… За этими величественными выщербленными фасадами – среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) – слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. Рим, Египет – все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон».

На Балтийском вокзале зашел в буфет.

Путевые обходчики здесь пили пиво, громко разговаривали, смеялись. Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом. Иосиф посмотрел на нее и тут же вспомнил свою мать в переднике, ее раскрасневшееся лицо, чуть запотевшие очки, ее коротко стриженные, крашенные хной седые волосы и блестящую от пота верхнюю губу, когда она на кухне отгоняет его от плиты: «Отойди! Что за нетерпение!» А потом она приносила угощения в комнату, где они с отцом уже сидели за столом и держали в руках вилки с маркировкой «нерж».

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

После первой блокадной зимы, 21 апреля 1942 года, Марии Моисеевне Вольперт вместе с сыном Иосифом и родителями (бабушкой и дедушкой Иосифа) удалось выехать из Ленинграда в эвакуацию в город Череповец Вологодской области.

Сначала они поселились в деревянном бараке на улице Ленина, а затем перебрались в дом Басалаевых в Новом переулке, что находился на окраине города близ Северного шоссе.

Жизнь в бараке Иосиф Бродский впоследствии описал следующим образом: «Я помню спуск в нашу полуподвальную квартирку… три или четыре белых ступеньки ведут из прихожей на кухню. Я еще не успеваю спуститься, как бабушка подает мне только что испеченную булочку – птичку с изюминкой в глазу. У нее немного подгоревшие крылышки, но там, где должны быть перышки, тесто светлее. Справа стол, на котором катается тесто, слева печка. Между ними и лежит путь в комнатку, где мы все жили: дедушка, бабушка, мама и я. Моя кроватка стояла у той же стены, что и печь в кухне. Напротив – мамина кровать и над ней окошко, выходящее, как и в кухне, на улицу».

Вот из этого окошка и был виден город, стоящий при впадении реки Ягорбы в реку Шексну близ Рыбинского водохранилища.

Во время войны в Череповце находился штаб 286-ой стрелковой дивизии, части Вологодско-Череповецкого округа ПВО, завод по ремонту авиационных двигателей на территории бывшего Воскресенского монастыря, механический завод «Красная звезда», а также лагерь ОГПУ НКВД № 158 для военнопленных и освобожденных из немецкого плена военнослужащих Красной армии, куда в должности секретаря-переводчика устроилась работать Мария Моисеевна.

В своих знаменитых «Диалогах с Бродским» Соломон Волков приводит следующие воспоминания поэта о том времени: «Несколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы садились с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Помню, в первый раз я даже спросил: “Мама, а скоро мы будем тонуть?”.

Переплывали Шексну как Стикс.

Старик, чьего лица было не разглядеть, кутался в плащ и напоминал Харона.

А на причале уже стоял хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА и как в античной трагедии пел попеременно.

Первое полухорие:

Как тюремный засов
разрешается звоном от бремени,
от калмыцких усов
над улыбкой прошедшего времени,
так в ночной темноте,
обнажая надежды беззубие,
по версте, по версте
отступает любовь от безумия.

Второе полухорие:

Через гордый язык,
хоронясь от законности с тщанием,
от сердечных музык
пробираются память с молчанием
в мой последний пенат
– то ль слезинка, то ль веточка вербная, —

и тебе не понять,
да и мне не расслышать, наверное,
то ли вправду звенит тишина,
как на Стиксе уключина.
То ли песня навзрыд сложена
и посмертно заучена.

Эпическое, торжественное зрелище на фоне низкого свинцового неба.

Вся жизнь в Череповце военной поры вращалась вокруг железнодорожного вокзала, через который транзитом с северо-запада на Котлас и Воркуту шли эвакопоезда, а с востока на запад – военные эшелоны. К 1941 году после затопления Рыбинского водохранилища часть города ушла под воду, в результате чего старые постройки почти не сохранились. Под нужды фронта Череповец отстраивался, по сути уже находясь на военном положении. Вагоноремонтные мастерские, отстойники паровозов, одноколейки, протянутые к лагпунктам и судоремонтному заводу, лесопилки, мастерские, склады, постоянный запах угля, солярки и креозота, надписи на деревянных лабазах, домах и заборах, сделанные белой краской: «кипяток», «сборный пункт», «госпиталь», «бомбоубежище», «запретная зона», «штаб», «вход воспрещен», «стой, стреляют», нескончаемый поток эвакуированных, раненых, заключенных. Для маленького человека, который уже научился читать, – это был истинный Вавилон.

Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа Бродского:

«Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос – в связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же относится и к Аду. Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно представить, что даже там оно определяет сознание и порождает свою собственную психологию, то психология эта прежде всего выражается в языке. Вообще следует отметить, что первой жертвой разговоров об Утопии – желаемой или уже обретенной – прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности».

Вот Мария Моисеевна везет на саночках маленького Иосифа мимо бывшего Воскресенского собора, где сейчас работает фабрика по ремонту авиационных двигателей. Вечернее небо подсвечивают прожектора части ПВО, что расположена на восточном выезде из Череповца на Вологду.

Все это скорее напоминает некое масштабное и непостижимое действо, частью которого стали обитатели Череповца, а также попавшие сюда эвакуированные, раненные и заключенные.

«Язык не поспевает за мыслью», и потому время обретает черты абсолютно условные, ничто отныне не является абсолютом, и особенно это становится очевидно во время войны, когда жизнь может оборваться сейчас, завтра, послезавтра, или, напротив, не закончиться никогда, превратившись в бессмертие в виде мемориальных досок на стенах домов, памятников, аляповатых портретов и торжественных митингов, перегруженных бессмысленными речами. Почему бессмысленными? Да потому что «язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении»! О каком тут смысле можно вообще говорить!

И вот когда почва окончательно уходит из-под ног, начинается миф – например, миф о дружной жизни в коммунальных квартирах, миф о тайном (разумеется, в те-то годы) богоискательстве, миф о довольстве и в то же время о непроходящем ужасе ожидания ареста и расстрела, наконец, миф о добром Сталине или, напротив, о кровожадном Сталине.

Из разговора Иосифа Бродского с Соломоном Волковым:

«Никаких особенных чувств к Сталину я не испытывал точно. Скорее он мне порядком надоел. Честное слово! Ну везде его портреты! Причем в форме генералиссимуса – красные лампасы и прочее. И хотя обожаю военную форму, но в случае со Сталиным мне все время казалось, что тут кроется какая-то лажа. Эта фуражка с кокардой и капустой, и прочие дела – все это со Сталиным как-то не вязалось, казалось не очень убедительным. И потом эти усы! И между прочим, в скобках, – знаете, на кого Сталин производил сильное впечатление? На гомосексуалистов! Это ужасно интересно. В этих усах было что-то такое южное, кавказско-средиземноморское. Такой папа с усами!… здесь начинается чистый Фрейд. Я думаю, что значительный процент поддержки Сталина интеллигенцией на Западе был связан с ее латентным гомосексуализмом. Я полагаю, что многие на Западе обратились в коммунистическую веру именно по этой причине. То есть они Сталина просто обожали!»

Ад и Рай, а между ними Хронос.

Лагерь ОГПУ НКВД № 158 и Череповец I, а между ними Шексна.

И еще, конечно, пронзительные паровозные гудки в любое время дня и ночи, к которым, впрочем, быстро привыкли.

В 1944 году вернулись из эвакуации в Ленинград.

Иосиф Бродский: «Тогда же все рвались назад, теплушки были битком набиты, хоть в Ленинград пускали по пропускам. Люди ехали на крыше, на сцепке, на всяких выступах. Я очень хорошо помню: белые облака на голубом небе над красной теплушкой, увешанной народом и выцветших желтоватых ватниках, бабы в платках. Вагон движется, а за ним, хромая, бежит старик. На бегу он сдергивает треух и видно, какой он лысый; он тянет руки к вагону, уже цепляется за что-то, но тут какая-то баба, перегнувшись через перекладину, схватила чайник и поливает ему лысину кипятком. Я вижу пар».

Детская память сохранила именно эту картину – пар, поднимающийся с лысины хромого старика и переливающийся в лучах солнца, вагон гремит на стыках, из открытого рта бабы вылетают слова, разобрать которые невозможно, мимо проплывают постройки вокзала.

Все это складывается в какую-то немыслимую какофонию, которая со временем (когда поезд набирает ход, а старик с дымящейся головой окончательно отстает) превращается в музыку.

Спустя годы на которую Иосиф напишет такие слова:

Ария птиц
Мы, певцы, и мы, певицы,
именуемые «птицы»,
вместе с песнями смогли
оторваться от земли.
Но при этом с каждой рощей
мы язык находим общий,
и идёт зимой и летом
в небе опера с балетом…
Ария рыб
Слышат реки и озёра
песню, скрытую от взора.
Над глубокими местами
дирижируем хвостами.
Мы хористы и солисты.
Наши песни серебристы.

Но ни слова нет, ни слова
не дойдёт до рыболова…
Ария деревьев
Мы, деревья, сами – звуки.
Меж собой всегда в разлуке,
разбредаемся по рощам,
умоляем, шепчем, ропщем.
Разбредаемся лесами.
Всё-то делаем мы сами:
и кручинимся, и блещем,
и поём, и рукоплещем…

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда.

Конечно, те, кто остались в живых, знали этот город другим, но для 4-летнего Иосифа Ленинград всегда был именно таким – состоящим из развалин, прикрытых фанерными щитами с нарисованными на них фасадами домов, с огородами в городских скверах, а также среди величественных руин дворцов классической архитектуры, с заросшими травой историческими площадями и забранными сколоченными из горбыля футлярами статуями в Александровском саду.

Все это напоминало античные руины в стиле Гюбера Робера, чьи полотна хранились в Эрмитаже: благородная древность и посеченные осколками колоннады, неумолимое время и развороченные во время бомбежек портики, одухотворенное одиночество и пустые перспективы Васильевского острова, осознание собственного ничтожества перед лицом анфилад пустых комнат, уходящих за горизонт.

В своем эссе «Путеводитель по переименованному городу» Иосиф Бродский писал: «Для смягченной мифологии Петербург слишком молод, и всякий раз, когда случается стихийное или заранее обдуманное действие, можно заприметить в толпе словно бы изголодавшееся, лишенное возраста лицо с глубоко сидящими побелевшими глазами и услышать шепот: “Говорят же вам, это место проклято!” Вы вздрогнете, но мгновение спустя, когда вы попытаетесь еще раз взглянуть на говорившего, его уже и след простыл. Тщетно вы будете вглядываться в медленно толочущуюся толпу, в мимо ползущий транспорт; вы не увидите ничего – лишь безразличные пешеходы и, сквозь наклонную сетку дождя, величественные очертания прекрасных имперских зданий. Геометрия архитектурных перспектив в этом городе превосходно приспособлена для потерь навсегда».

Пережив блокаду, город постарел на несколько веков, а взгляд его, и без того изрядно безумный, как-то еще более помутнел, словно удостоился видения чего-то потустороннего. Таким взглядом обладает человек, переживший клиническую смерть.

По воспоминаниям Иосифа Бродского, вернувшись из эвакуации, они с матерью обнаружили их комнату в коммуналке на Рылеева опечатанной (у отца была комната на углу Газа и Обводного канала). После известного рода процедур Марии Моисеевне Вольперт комнату все же вернули, и лишь в 1955 году две «однушки» удалось поменять на полторы комнаты в доме Мурузи на Пестеля.

После того как в 1948 году Александр Иванович вернулся в Ленинград с Дальнего Востока, они вместе с сыном часто ходили в Соляной городок на Фонтанку, где находился Музей обороны города, и там бродили до позднего вечера.

Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»: «В нескольких минутах ходьбы от дома Бродских, в Соляном городке, находился Музей обороны Ленинграда, где были выставлены образцы советской и немецкой военной техники вплоть до тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Решающие битвы изображались на диора-

мах с манекенами атакующих и павших солдат на переднем плане в натуральную величину… Отец по возвращении из Китая два года заведовал фотолабораторией в Военно-морском музее. Девяти-десятилетний Иосиф пользовался привилегией бродить по музею после закрытия: “Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы в анфас и в профиль – в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине”. Живое ощущение только что закончившейся войны и победы сливалось с имперскими мифами так же, как на улицах города следы недавней войны были неотделимы от обильной в Петербурге ампирной символики. Из окна своей комнаты мальчик видел ограду Спасо-Преображенского собора, сделанную из трофейных пушек, а на другом конце улицы Пестеля (Пантелеймоновской) стояла Пантелеймоновская церковь, построенная в честь победы русского флота при Гангуте. Мечи, копья, дротики, секиры, щиты, шлемы, дикторские фасции с топориками украшали Пантелеймоновский мост через Фонтанку, как и многие другие ограды и фасады бывшей столицы империи. Неоклассицистический архитектурный декор способствовал не только воспитанию патриотического чувства. «Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги».

Хор, составленный из гладко выбритых адмиралов и гоплитов, вооруженных мечами, копьями, дротиками, секирами и тяжелыми гоплонами, в конце второго эписодия исполняет второй стасим:

«Дети обречены, и спать идут раньше взрослых».
«Того, что спешит под парусом, не обогнать на веслах».
«И темный ужас, как море, захлестывающее остров,
детей поглощает первых». «Как следует зная дело,
зло нарушает душу, но начинает с тела».
«И дети обречены». «Да, для детей стемнело».

Медленно разгораются уличные фонари.

Петроградскую сторону от левого берега отрезает паровой буксир с включенными бортовыми огнями. Он уходит в сторону Володарского моста, а его надрывный гудок еще долго тянется над Невой и затихает только когда захлопывается дверь в парадной на Пестеля.

Эписодий Третий

На Балтийском вокзале зашел в буфет. Путевые обходчики тут пили пиво, громко разговаривали, смеялись.

Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом.

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

Спорили в основном о защитнике Марке Геке и полузащитнике Стасе Завидонове, а еще конечно ругали Алова, который развалил команду и довел «Зенит» до задворок турнирной таблицы.

На задворках вокзала шла разгрузка товарняка, рабочие лениво переругивались, по репродуктору сообщили о прибытии почтово-багажного из Пскова на третий путь.

Иосиф вышел на улицу, и город впервые показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно выдуманным, впрочем, в этом была и своя польза.

Спустя годы Бродский скажет: «Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы – ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий».

Город, в котором можно жить лишь придуманной жизнью. Так невозможно жить в Череповце или Москве, Вологде или Смоленске, Пскове или Новгороде, а в Ленинграде подругому жить просто не получится. Иначе можно сойти с ума, если будешь ежедневно и ежечасно вдаваться в подробности и хитросплетения этих перспектив и дворов-колодцев, набережных и напоминающих взлетно-посадочные полосы военных аэродромов проспектов.

Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неудивительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно своей внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков, намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как сгущенное Время».

Время течет мимо гранитных берегов.

Мимо Александро-Невской лавры.

Мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства, Биржи и стоящих на рейде военных кораблей.

Если вот так идти по набережной, то возникает ощущение того, что ты на равных со Временем, что можешь либо опережать его, ускоряя шаг, либо отставать от него, оказываясь в прошлом, в древности, снисходительно взирая при этом на убегающую вперед черную воду Невы. Почему снисходительно? Да потому что ты уже был там, впереди, в будущем, и уже все знаешь о нем.

Конечно, такое знание весьма искусительно, оно рождает чрезмерные амбиции, до поры скрываемые, а порой и доходит (знание) до крайних своих проявлений – истеричности, нетерпимости к тому, что никак не вписывается в сложившуюся панораму реальности. Вернее сказать, ирреальности, того мифа, который и стал обыденностью.

Когда вернулся домой на Пестеля, то обнаружил весь свой класс сидящим в полутора комнатах – полный сюрреализм!

Мать лишь развела руками, увидев бешеный взгляд сына.

– Зачем явились?

И сразу, как из рукомойника на кухне полились нечленораздельные, вихляющие речи, забарабанили по дну бурой раковины о том, что Иосиф не должен бросать школу, что советской стране нужны молодые образованные люди, что надо соблюдать дисциплину и чтить преподавателей, которые отдают своим ученикам душу.

Что-то в этом услышалось дьявольское – душа исторички, секретаря парторганизации школы, кавалера ордена Ленина Лидии Васильевны Лисицыной переселяется в учеников, и они становятся похожими на нее, ходят строем, вместе поют песни, занимаются общественно-полезной работой, участвуют в субботниках, получают на уроках только пятерки.

И тут же сделалось невыносимо тоскливо:

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещённое в пространство,
пространством вытесняется. Вода
дробит в зерцале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь
пророчествам реки он больше внемлет,
чем в те самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал. Кто-то
среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То – ветер,
как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.

Да, он живет в развалинах, и потому дышит свободно, а они ходят жить в новостройках, где подача кислорода, кипятка и электричества строго лимитирована.

В результате все закончилось скандалом, в школу Иосиф больше не вернулся, а одноклассники ушли, возмущенно хлопнув входной дверью, и в наступившей тишине можно было только слышать, как соседи сверху что-то сверлят.

Видимо вешают полку или картину.

Например, «Архитектурный пейзаж с каналом» Гюбера Робера из коллекции Государственного Эрмитажа, который они вырезали из «Огонька», вставили в рамку под стекло, и вот теперь эта величественная колоннада, нависшая над водой, убранная папоротником и побегами бананового дерева, освещает комнату в доме № 24 по Литейному проспекту – угол Пестеля, предзакатным светом Средиземноморья.

Нездешним светом, разумеется, абсолютно нездешним.

Впрочем, Александр Иванович Бродский предпочитал вешать на стенах своей квартиры фотографии собственного производства, потому как был уверен в том, что настоящий мужчина должен уметь все делать сам, своими руками, и украшать свое жилище в том числе.

К уходу сына из школы он отнесся сдержанно (по крайней мере, внешне), ведь по идее все к тому и шло, а когда узнал, что Иосиф устроился помощником фрезеровщика на завод № 671 (более известный в городе как «Арсенал»), едва сдерживал гордость за своего мальчика.

Однако постижение рабочей профессии оказалось непродолжительным.

Далее в трудовой книжке молодого фрезеровщика первого разряда появились следующие отметки: кочегар в бане, матрос на маяке, рабочий-коллектор в геологической партии, помощник прозектора в морге.

Из воспоминаний Иосифа Бродского, записанных Соломоном Волковым:

«Когда мне было шестнадцать лет, у меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом. Ну нормальная такая мечта еврейского мальчика. И вслед появилась опять-таки романтическая идея – начать с самого неприятного, с самого непереносимого. То есть с морга. У меня тетка работала в областной больнице, я с ней поговорил на эту тему. И устроился туда, в морг. В качестве помощника прозектора. То есть я разрезал трупы, вынимал внутренности, потом зашивал их назад. Снимал крышку черепа. А врач делал свои анализы, давал заключение… в юности ни о чем метафизическом не думаешь, просто довольно много неприятных ощущений. Скажем, несешь на руках труп старухи, перекладываешь его. У нее желтая кожа, очень дряблая, она прорывается, палец уходит в слой жира. Не говоря уже о запахе. Потому что масса людей умирает перед тем, как покакают, и все это остается внутри. И поэтому присутствует не только запах разложения, но еще и вот этого добра. Так что просто в смысле обоняния, это было одно из самых крепких испытаний… Но все это продолжалось сравнительно недолго. Дело в том, что тем летом у отца как раз был инфаркт. Когда он вышел из больницы и узнал, что я работаю в морге, это ему, естественно, не понравилось. И тогда я ушел».

Быть античным героем во всем, или хотя бы в том, чтобы вслед за Орфеем спуститься в Аид, причем, в прямом смысле – морги в советских больницах, как правило, занимали подвальное помещение.

Притом что Харона – старика в плаще – маленький Иосиф уже видел в Череповце при форсировании реки Шексны в переполненной («вода была вровень с бортами») лодке.

Тогда все остались живы, и обманувших Танатоса (бог смерти в греческой мифологии) на причале встречал хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА.

И воспевал:

Рекам бежать назад время, как зверю – в нору.
Горним вершинам рушиться наземь впору,
вместе с богами уподобляясь сору.
Мало осталось в мире правды и меньше чести.
Сердце мужское они покидают вместе.
Времени ход не значит, что торжествует правый,
и все же наша печаль нам обернется славой;
сильный лишь выживает. Переживает – слабый.

Подсознательная игра с эстетикой руин и брутальных ленинградских окраин, промзон и рабочих бараков, моргов и прозекторских, с эстетикой упадка и смерти, в конце концов, продолжилась, но уже в качестве сублимации и переосмысления собственной *инаковости*, непохожести на тех, кто тебя окружает.

При том, что Иосиф нарочито восхищался своими одноклассниками в последней школе на Обводном канале (в основном это были дети рабочих и путейцев с Балтийского вокзала) и с презрением отзывался о «полуинтеллигентной шпане» из центра, он тем самым интуитивно пытался снять напряжение, которое вызывала его персона в чуждой ему среде.

Попытка «опроститься», стать таким, как все, имела перед собой лишь одну очевидную цель – перенаправить негативную энергию, негативные переживания в конструктивное и комфортное бытование в агрессивной обстановке. «Романтические фантазии», меж тем, настойчиво культивируемые как единственная возможность сбежать от «свинцовой» действительности, оказались не такими уж и безобидными, как, впрочем, и любое (даже самое благое) начинание, доведенное до крайности.

Безэмоциональное наблюдение за препарированием трупов, за вскрытием черепных коробок, а также за посмертной дефекацией вовсе не было результатом психической патологии, но именно доведенного до крайности метафизического нечувствия, юношеского максимализма (цинизма, нигилизма), ставших закономерным результатом внутренних страхов и комплексов, рожденных на социальной и национальной почве. И как результат, происходит рождение того, что у Фрейда называется «структура мотивов, наличие которой мы должны рассматривать как основу более высокой социальной и культурной организации».

Впрочем, к Фрейду Бродский всегда относился с недоверием, видимо, ему претила всякая «структура», всякая «арифметика», когда себя видишь в подчиненном, зависимом положении. Впрочем, в Петербурге в свое время эту тему исчерпал бывший студент Родион Романович Раскольников, вооруженный топором, – Родина, Романовы, Раскол:

Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей».
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время – волна, а Пространство – кит.

Стало быть, есть время и Время.

Время со *строчной* – это когда умирает Сталин, когда после блокады инвалидов и душевнобольных из Ленинграда выселяют на Валаам в бывший Спасо-Преображенский монастырь, когда «Зенит» оказывается в конце турнирной таблицы, когда рабочие завода «Арсенал» идут на обеденный перерыв, а школьники принимают участие в Ленинском субботнике…

А есть Время и с *прописной* – эта та метафизическая субстанция, с которой имеет дело поэт, подвергая ее постоянной реорганизации за счет изменения ритма и отсечения всяческих клише, находя при этом перфекционизм смыслом существования своего лирического героя, категорически не терпящего ничего банального и вторичного.

А еще есть Пространство, которое перемещается по воле Времени как исполинский кит или как левиафан, о котором сказано в Книге Иова: «Круг зубов его – ужас; крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются… из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас… Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости».

Хотя уже в XVII веке Томас Гоббс наделил это мифическое существо иными функциями (в новейшей истории этот подход видится более актуальным): «В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа, должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти – искусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi, безопасность народа, – его занятие; советники, внушающие ему все, что необходимо знать, представляют собой память; справедливость и законы суть искусственный разум (reason) и воля; гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, и гражданская война – смерть».

Пространство, таким образом, переиначивает фрейдовскую «структуру мотивов», потому что в ее основу отныне заложена «искусственная душа» с ее «искусственными суставами» и «функциями в естественном деле».

И тогда из глубин русской словесности в образе Поддонного царя (сам весьма напоминающий левиафана) выплывает рязанский, тверской ли губернатор Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, страшно вращает глазами и говорит, словно пишет: «Градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова… Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали…

Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована».

А ведь ничем, право, не отличается описанный классиком терминатор XIX-го столетия от Лидии Васильевны Лисицыной (и ей подобных), что раздает по частям свою душу питомцам, позвякивая при этом орденом Ленина, приколотым на лацкане пиджака с левой стороны.

Раздает и все никак не может раздать до конца. Может быть, потому что душа бессмертна? У Иосифа нет ответа на этот вопрос…

Меж тем так называемое «градоначальническое вещество» заполняет актовые залы и кабинеты, присутственные места и общественные здания, аудитории и райсобесы, в которых так или иначе приходится бывать даже античному герою, переплывшему Стикс и посетившему Аид.

Следовательно, конфликт неизбежен.

Однако интересно заметить, что юный Бродский не бунтовал против окружавшего его мира абсурда и не конфликтовал с действительностью (по крайней мере открыто), он просто создавал собственную, вернее сказать, это по умолчанию происходило в его семье: долгие вдумчивые прогулки с отцом по городу, беседы на различные нравственные темы, фотографирование проходных дворов, линий и набережных, общение с родственниками матери, в частности с ее сестрой – актрисой Театра им. В.Ф. Комиссаржевской и БДТ Дорой Моисеевной Вольперт.

И наконец чтение книг.

Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа Бродского: «Если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем в “Котловане” следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом. Я говорю – первым, несмотря на Кафку, ибо сюрреализм – отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства, продукт психологии тупика. Платонов не был индивидуалистом, ровно наоборот: его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен и, до известной степени, близок к античной (впрочем, любой) мифологии, которую следовало бы назвать классической формой сюрреализма. Не эгоцентричные индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу. В отличие от Кафки, Джойса или, скажем, Беккета, повествующих о вполне естественных трагедиях своих “альтер эго”, Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость».

В Ленинграде нет тупиков.

Дворы-колодцы соединяются с проходными дворами.

Проходные дворы выводят на линии, а линии в свою очередь впадают в проспекты, которые переходят в набережные, что соблюдают Неву.

Александр Иванович показывает сыну, как нужно правильно фотографировать город: во-первых, все вертикали зданий должны быть ровными, во-вторых, линия горизонта не может быть завалена, и, наконец, важно определиться с освещением, чтобы объем зданий или перспективы проспектов были оптимально подчеркнуты.

Иосиф слушает отца и думает о том, что подобным образом и рождается некий фиктивный мир, от которого взгляд впадает в визуальную зависимость. Парадоксальный город, потому что на самом деле вертикали тут уже давно перекошены, горизонт уходит в зависимости от положения фотоаппарата или поворота головы, и все перпендикуляры относительны, а что же касается до света, то о каком выгодном освещении в Ленинграде вообще можно говорить, если из 365 дней в году 200 тут пасмурные.

Низкое небо, болотные испарения, дождь-конденсат, промозглый ветер с залива, короткий световой день, редкие призрачные прохожие, более напоминающие литературных персонажей, а потому совершенно невыносимые в реальной жизни, – достаточное количество поводов впасть в «философское (читай, интеллектуальное) бешенство», к которому с годами привыкаешь, и даже находишь его весьма привлекательным и комфортным.

… В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения…

Момент соединения.

1962 год.

Адмиралтейская набережная.

Иосиф выходит из дома № 10, подходит к Неве и облокачивается на парапет.

Спустя годы, уже находясь в Америке, он так опишет этот эпизод из своей ленинградской молодости: «Я этот момент очень хорошо помню, если вообще у меня были какие-то откровения в жизни, то это было одно из них. Я стоял, положив руки на парапет, они так слегка свешивались над водой… День серенький… И водичка течет… Я ни в коем случае не думал тогда, что вот я поэт или не поэт… Этого вообще никогда у меня не было и до сих пор в известной степени нет… Но я помню, что вот я стою и руки уже как бы над водичкой, народ вокруг ловит рыбку, гуляет, ну и все остальное… Дворцовый мост справа… Я смотрю, водичка так движется в сторону залива, и между водой и руками некоторое пространство… И я подумал, что воздух сейчас проходит между водой и руками в том же направлении… И тут же подумал, что в этот момент никому на набережной такая мысль в голову не приходит… И тут я понял, что что-то уже произошло… И вот это впервые пришедшее сознание того, что с головой происходит что-то специфическое, возникло в тот момент, а так вообще этого никогда не было».

Таким образом, «некоторое пространство» может вместиться между водой и руками. Впрочем, об этом уже шла речь, когда левиафан всплывал из морской (а в данном случае, из речной бездны) и, по словам праведника Иова из земли Уц, становился «царем над всеми сынами гордости».

Проходящие же по набережной люди не обращают ни малейшего внимания ни на молодого человека, стоящего у парапета, ни на морское чудовище, из пасти которого «выходят пламенники», хотя, вполне возможно, что они видят всего лишь проходящий по Неве буксир типа БОР с включенными красными бортовыми огнями.

Буксир надрывно гудит, и Иосиф вспоминает, как в детстве они вместе с отцом часто ходили гулять на Соляной городок, где стояла военная техника времен Великой Отечественной войны, потом выходили на набережную Фонтанки и брели в сторону Невы, по которой против течения, истошно воя, пробирался к Володарскому мосту буксир «Флягин».

Однако после того, как у отца пять лет назад случился инфаркт, они перестали гулять вместе. Врачи запретили Александру Ивановичу длительные пешие прогулки, и теперь он сидел на скамейке в сквере перед Спасо-Преображенским собором и листал журнал «Огонек». Особенно он любил разглядывать цветные развороты – картины из коллекции Государственного Эрмитажа, репродукции из Лувра или работы студии военных художников или Митрофана Борисовича Грекова.

Отец всегда неукоснительно соблюдал предписания врачей и всякий раз засекал время, сколько ему надлежит провести на свежем воздухе на сей раз, потому что уже не ощущал себя здоровым человеком и не мог позволить себе того, что мог позволить в годы молодости.

В 1962 году 22-летний Иосиф Бродский по статьям 30В (хроническое или неизлечимое заболевание – невроз и врожденное заболевание сердца, стенокардия) и 8В (ограниченно годен к военной службе), а также в связи с временной нетрудоспособностью отца Бродского Александра Ивановича, будучи единственный кормильцем в семье, был освобожден от военной службы.

Через два года обитающий на дне Невы или Финского залива левиафан в очередной раз всплывет на поверхность, исторгнет из своей пасти пламя и возопит голосом начальника Ленинградского Дома обороны товарища Смирнова:

– Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни… У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына в консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легкомысленный военкомат.

На Дворцовом мосту стоит хор сотрудников «легкомысленного военкомата», который исполняет *стасим* третий из трагедии «Медея» Еврипида:

«Скорей умру, чем покину
отчизны родную глину.
Не дай мне познать чужбину,
где смотрят в лицо, как в спину.
Не дай пережить изгнанья —
изнанки судьбы, незнанья,
праздного назиданья.
Не дай мне увидеть Феба
в пустыне чужого неба».

Эписодий Четвертый

Из письма Иосифа Бродского Элеоноре Ларионовой от 7 августа 1958 года: «Есть на Земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящее. Это настоящие писатели, настоящие врачи, настоящие педагоги. Настоящие – это значит – творцы. Я хотел бы стать чем-нибудь стоящим. Для этого нужно знать много вещей. Если ты собираешься творить, то необходимо усвоить себе, для кого, для чего ты это делаешь… Необходимо найти фундамент, на который намерен опереться; необходимо проверить его прочность. Необходимо также найти людей, которые верят в ту же самую идею, которые помогут. Это, собственно, главное. Нужно, в общем, очень долго искать.

Я здорово сожалею, что поздно начал, как ты выражаешься, путешествовать. Эти два года, безусловно, не прошли даром. Но тот же самый результат мог быть достигнут и за более короткий промежуток времени. Я, собственно, только начинаю. Только начинаю по-настоящему заниматься делом. Я только начинаю странствовать… Да, я слишком занят собственной персоной. Я раскатал тебе на полтора листа гимн своим взглядам, но я хочу, чтобы ты усвоила содержание моего ответа твердо. Ты вот пишешь, да и говоришь весьма часто, что я перелетная птица, дилетант. Пойми же, Норка, это – поиск.

Я жонглирую своей судьбой не ради чего-то определенного, стабильного для себя. Ну в том смысле, что я вовсе не намерен выбирать себе какую-то иерархическую лестницу и продвигаться по оной… Я уже давно решил вопрос о цели. Теперь я решаю вопрос о средствах. Мне кажется, что я нахожу правильное решение. Это звучит и глупо, и высокопарно. Но это происходит потому, что я популяризирую идею. Я хочу, чтобы ты поняла меня верно. То, что я делаю, это только поиск. Новых идей, новых образов и, главное, новых форм».

Этот манифест (он же программа действий) был написан Бродским в экспедиции в Архангельской области, где он работал в геологической партии в качестве разнорабочего. Тяжелый физический труд, тучи комаров и мошки, спирт, чифирь, тормозная жидкость, предельно аскетические условия проживания, полная удаленность от контролирующих органов и «всевидящего ока» власти – идеальные условия для начала внутреннего странствия, вернее сказать, для его продолжения.

Античные руины города Петра и Ленина уступили место Немейскому лесу, который распростерся от Беломорского побережья до земель Коми, и от Онежского озера до Кольского полуострова. Безобразные демоны и прекрасные нимфы, лютые хищники и злобные духи тут таятся на заброшенных погостах, одолевают отшельников в уединенных скитах, извергают на одиноких странников кровососущих насекомых и ядовитых болотных гадов.

Из интервью Иосифа Бродского: «Мы делали карту пород, залегающих в этой местности, на Севере. Это была карта четвертичного залегания, то есть слоёв грунта, недалеко уходящих в глубину: глина и так далее. Шурфы бьются на метр-полтора. В день мы нахаживали по тридцать километров, забивали четыре шурфа. Или, поскольку это было в тундре, в болотах, делали прокол. Просто брали шест, забивали и что-то вытаскивали, чего там было. Там, как правило ничего не было… хотелось найти уран, естественно».

Но как только затихали двигатели тракторов и тягачей, лесовозов и трелевочных машин, Иосиф конечно же, слышал над этим уходящим за горизонт пространством истошные вопли Пана, сопровождаемые хоровым пением всех этих Аргосов, Ксанфов, Питид, Фавнов, Филамнов, Фобосов и Эгокоров.

Оказаться здесь по собственной воле (через несколько лет Бродский будет сюда доставлен насильно) есть свидетельство постоянного и весьма напряженного поиска новой формы бытования в стране, где попытка заглянуть внутрь самого себя, отвернувшись от бытия,

которое, как известно, определяет сознание, уже само по себе есть уголовно наказуемое деяние.

«Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить вброд или сплавляться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота, обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть тушенку. Холодно бывало часто», – так отзывались о Бродском его друзья по геологическим партиям.

Впрочем, о его умении быть в коллективе «как все», ничем не выделяясь (причем это могли быть рабочие-фрезеровщики с «Арсенала» и шпана с Обводного канала, санитары областной больницы и геологи с университетским образованием), речь уже шла выше. Вероятно, в этой склонности к социальной адаптации (мимикрии) таился пристальный наблюдатель за жизнью и за людьми. Причем наблюдение это носило в большей степени компаративный характер, и он соотносил собственное поведение и собственную персону с обстоятельствами и персонажами, в которые попадал и с которым оказывался рядом в силу объективных причин. При этом частая смена декораций и лиц не требовала обязательного погружения в данную конкретную ситуацию или выстраивания длительных взаимоотношений с кем-либо, что называется, без остатка, она (смена-поиск) позволяла преодолевать пространство и время по касательной, напитывая воображение только теми красками и полутонами, место которым в творческой палитре художника было забронировано заранее.

Таким образом, видение этого бытования носило в определенном смысле отстраненный характер, потому что, как замечал сам Иосиф, стоя на берегу Невы летом 1962 года, «никому на набережной такая мысль в голову не приходит». Например, мысль о том, что Время можно опередить или даже остановить, мысль о том, что Пространство подобно огромному киту, в чреве которого томится пророк Иона, или левиафану, напоминающему русского писателя, журналиста и вице-губернатора М. Е. Салтыкова-Щедрина.

И вот Михаил Евграфович чревовещает как пишет: «Человеческая жизнь – сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история – тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно, они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.».

Что же в таком случае можно отнести к яви?

На этот вопрос Иосиф для себя отвечает – только язык, потому что он компрометирует время и пространство, жизнь и смерть. Более того, речь в данном случае может идти только о поэзии, потому что именно она является высшей формой существования языка. По мысли Бродского, «в идеале – это отрицание языком своей массы и законов тяготения, устремление языка вверх, к тому началу, в котором было Слово». Поэт, следовательно, присваивает себе функции Творца, что с недосягаемых вершин наблюдает за людским столпо-

творением (муравейником?), за наивной попыткой созданных по образу и подобию Божию обрести славу, богатства, любовь, отечество, место последнего упокоения, наконец.

Можно предположить, что каждое возвращение в Ленинград было своеобразным переходом из одного языкового состояния в другое, когда впечатления от увиденного в Сибири, Средней Азии и на Русском Севере спрессовывались до объема полутора комнат, теснились, искали выхода и не находили его до поры.

До 1959 года.

На вопрос Евгения Рейна, с чего начался Бродский-поэт, спустя годы Иосиф ответит ему: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же в Якутске, я помню, гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нем я надыбал Баратынского – издание “Библиотека поэта”. Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во всем виноват».

Из стихотворения Е.А. Баратынского «Последняя смерть» от 1827 года:

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он.
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Сохранилась фотографическая карточка, снятая в 1959 году Яковом Гординым в якутском аэропорту.

Иосиф стоит на вымощенной плиткой площадке.

За спиной – покосившаяся ограда, белая урна и летное поле, на котором стоит «Ил-14».

Снимок не контрастный, следовательно, пасмурная погода, вполне напоминающая ленинградскую.

Читаем в книге переводчицы, кандидата геолого-минералогических наук Людмилы Яковлевны Штерн «Поэт без пьедестала. Воспоминания об Иосифе Бродском» следующие строки: «У меня есть маленькая память об Иосифе “якутского” периода. За два дня до своего отъезда в эмиграцию, он подарил нам с Витей свою фотографию, сделанную летом 1959 года на якутском аэродроме. Стоит, расставив ноги, руки в карманах, на фоне летного поля с взлетающим (а может, садящимся) самолетом. На обороте надпись: “Аэропорт, где больше мне не приземлиться. Не горюйте”»… Итак, «геологический период» Бродского продолжался приблизительно с 1957 по 1961 год.

Впрочем, и в последующие годы мне несколько раз удавалось нанять его в качестве “консультанта” в институт Ленгипроводхоз, в котором я работала инженером-гидрогеологом после окончания Горного института. Заработок консультанта был мизерный, но все же лучше, чем никакого. Помню нашу совместную работу над проектом “Состояние оросительно-осушительных каналов Северо-западных регионов РСФСР”. Мы мотались по Ленинградской области, обследуя километры каналов на предмет устойчивости их откосов.

Состояние этих каналов было плачевным. Не лучше выглядели и откосы. Они обваливались, оплывали, осыпались, зарастали какой-то дрянью. Я их описывала, Иосиф фотографировал. Фотографом он был классным, вероятно, унаследовав отцовский талант. К тому же Александр Иванович разрешил пользоваться его профессиональной аппаратурой. Во всяком случае, при защите моего отчета были особо отмечены “фотографии, блестяще подтверждающие описательную часть проекта”. Возможно, что эти отчеты с Осиными фотографиями до сих пор пылятся в архивах Ленгипроводхоза.

У нас даже возникла шальная идея заработать копейку-другую, написав сценарий для научно-популярного фильма об устойчивости оросительных каналов. Бродский придумал эффектное название: “Катастрофы не будет”. Имелось в виду, что обвалившиеся откосы никого под собой “не погребут”. Мы написали заявку, и друзья устроили нам встречу с директором “научпопа”, то есть студии научно-популярных фильмов. Он при нас пробежал глазами заявку и сказал: “Это может пойти при одном условии: расцветите сценарий находками”. Мы обещали расцветить и раскланялись, но на другой день идея сценария завяла из-за чудовищной скуки тематики…

Со времен юности Иосиф обладал еще одним редким даром – способностью абстрагироваться от реальной действительности. В такие минуты он был целиком погружен в свои мысли, не заботясь ни о реакции собеседника, ни о его интеллектуальных возможностях. Возможно, именно эти свойства помешали ему сделать блестящую геологическую карьеру».

Конечно, «Баратынский» из Якутска таков – слышит только себя, воспринимает реальность как сон (так говорят «философы-спиритуалисты»), целиком погружен в свои мысли.

Известно, что на следующий год Иосиф вновь отправился в экспедицию в Якутию (о его проблемах со здоровьем – сердце – тут знали и особо не нагружали молодого экспедиционера), однако неожиданно для всех в середине сезона он уехал в Ленинград, объясняя впоследствии свой поступок тем, что его «заели комары», а также несовпадением взглядов на жизнь с начальником партии.

Впрочем, это было и понятно.

Этап накопления впечатлений и жизненного опыта в том виде, каким его находил Бродский, закончился. Было уже бессмысленно играть роль рабочего-геолога-санитара-истопника-сторожа (и так далее), потому что поиск (о котором Иосиф писал Норе Ларионовой в 1958 году) привел к обретению искомого – он будет поэтом и путем отрицания законов тяготения (социальных в том числе) устремит язык вверх, «к тому началу, в котором было Слово».

Так наступило время настоящего умственного и душевного напряжения, когда все, не имевшее прямого отношения к творчеству, к литературе, не имело ровным счетом никакого значения.

В этом смысле вновь интересно привести еще один эпизод из книги Людмилы Штерн: «Бродский попросил меня устроить его в геологическую экспедицию. Я поговорила со своим шефом, унылым мужчиной по имени Иван Егорович Богун, и он пожелал лично побеседовать с будущим сотрудником.

Я позвонила Иосифу: “Приходи завтра на смотрины. Приоденься, побрейся и прояви геологический энтузиазм”.

Бродский явился, обросший трехдневной рыжей щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках…

Итак, Иосиф, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой “Прима”.

Богун поморщился и помахал перед носом ладонью, разгоняя зловонный дым, но этого намека Иосиф не заметил. И тут произошел между ними такой примерно разговор:

– Ваша приятельница утверждает, что вы увлечены геологией, рветесь в поле и будете незаменимым работником – любезно сказал Иван Егорыч.

– Могу себе представить, – пробормотал Бродский и залился румянцем.

– В этом году у нас три экспедиции – Кольский, Магадан и Средняя Азия. Куда бы вы предпочли ехать?

– Не имеет значения, – хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок.

– Вот как! А что вам больше нравится – картирование или поиски и разведка полезных ископа…

– Абсолютно без разницы, – перебил Бродский, – лишь бы вон отсюда.

– Может, гамма-каротаж? – не сдавался начальник.

– Хоть гамма, хоть дельта, один черт! – парировал Бродский.

Богун нахмурился и поджал губы.

– И все же… Какая область геологической деятельности вас особенно привлекает?

– Геологической? – переспросил Иосиф и хихикнул.

Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся и заерзал в кресле.

– Позвольте спросить, – ледяным голосом отчеканил Иван Егорыч, – а что-нибудь вообще вас в жизни интересует?

– Разумеется, – оживился Иосиф, – очень даже! Больше всего на свете меня интересует метафизическая сущность поэзии…

У Богуна брови вместе с глазами полезли на лоб, но рассеянный Бродский не следил за мимикой собеседника.

– Понимаете, – продолжал он, – поэзия – это высшая форма существования языка…

Наконец-то предмет беседы заинтересовал Иосифа Бродского. Он уселся поудобнее, заложил ногу за ногу, снова вытащил “Приму”, чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся.

– Видите ли, – доверительно продолжал Иосиф, будто делился сокровенным, – все эти терцины, секстины, децины – всего лишь многократно повторяемая разработка последовавшего за начальным Словом эха. Они только кажутся искусственной формой организации поэтической речи… Я понятно объясняю?

Ошеломленный Иван Егорыч не поддержал беседы. Он втянул голову в плечи и затравленно смотрел на поэта. Иосиф тем временем разливался вечерним соловьем:

– Я начал всерьез заниматься латынью. Меня очень интересуют различные жанры латинской поэзии. Помните короткие поэмы Катулла? Он очень часто писал ямбом… – Иосиф на секунду задумался. – Я сейчас приведу вам пример…».

Бродский резко встает с кресла и начинает ходить по кабинету Ивана Егоровича Богуна, он размахивает руками и декламирует:

По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом в ту ли глушь
фригийских лесов.
В те ли дебри рощ дремучих, ко святым богини местам.
Подстрекаем буйной страстью, накатившей
яростью пьян,
убелил он острым камнем молодое тело свое.
И, себя почуяв легким, ощутив безмужнюю плоть,
Окропляя теплой кровью кремнистый выжженный луг,
Он взмахнул в руке девичьей полнозвучный,
гулкий тимпан.

Это – твой тимпан, Кивева, твой святой,
о матерь, тимпан!…

Останавливается, замолкает на какое-то мгновение, словно складывает вновь уже сложенные Катуллом строки, и продолжает в полной ажитации:

Брат, через много племен, через много морей переехав,
Прибыл я скорбный свершить поминовенья обряд,
Этим последним тебя одарить приношением смерти
И безответно, увы, к праху немому воззвать,
Раз уж тебя самого судьба похитила злая —
Бедный, коль на беду отнят ты был у меня!
Ныне же, как нам отцов завещан древний обычай,
Скорбный обряд совершу, – вот на могилу дары;
Пали росою на них изобильные братнины слезы.
Их ты прими – и навек, брат мой, привет и прости!

Иван Егорович в ужасе смотрит на неистового стихотворца, и, когда Бродский покидает его кабинет, энергично крутит ему вслед пальцем у виска, потому что так и не понял, кто сейчас перед ним был – клоун или поэт, высоколобый интеллектуал или отпетый мошенник, трезвый или пьяный, больной или здоровый.

А Иосифу неважно, что о нем думает Богун или кто-либо другой, потому что он идет по Невскому, улыбается своим мыслям, размышляет о ямбической силе Катулла, о том, как он виртуозно применил гармонию греческих лирических размеров к латинскому языку, как наполнил эмоциональным эротическим звучанием любовные послания к прекрасной Лесбии и юному Ювенцию.

За этими размышлениями он не замечает, как оказывается перед входом в Дом книги.

Останавливается.

Сам себя вопрошает:

– Зайти что ли?

И отвечает:

– Можно.

Иосиф поднимается по парадной лестнице на второй этаж, где продаются книги по искусству: «Античная коллекция Эрмитажа», «Военная галерея 1812 года Джорджа Доу», «Передвижники», «Советская изобразительная Лениниана», «Скульптор Вучетич», «Ленинград в изобразительном искусстве», «Современная советская графика».

Сам не зная почему, он берет с полки именно последнюю, перелистывает ее, всматривается в изображения мускулистых рабочих с закатанными рукавами, колхозниц с огромными бюстами, щекастых детей, космонавтов, напоминающих роботов из школьных конструкторов, большевиков и революционных матросов.

– Будете брать?

Иосиф вздрагивает, как-то суетливо, словно его застали за разглядыванием чего-то непристойного, поднимает глаза и натыкается на оловянного отлива недовольный взгляд продавщицы.

– Нет.

– Ну и поставьте тогда на место!

Иосиф возвращает книгу на полку и выходит на Невский.

Здесь закуривает и думает о том, что все дороги в этом городе ведут к Неве.

С другой стороны, на Невском проспекте едва ли какая-либо другая мысль, касающаяся местной планировки, может прийти в голову.

А на противоположном берегу реки расположены Биржа – Центральный военно-морской музей, Пушкинский Дом, Кунсткамера, университет, Академия художеств. С этой частью города у Бродского тоже были связаны свои воспоминания.

Воспоминание первое

«Ранними вечерами после уроков я пробирался через город к реке, пересекал Дворцовый мост, с тем чтобы забежать в музей за отцом и вместе с ним пешком вернуться домой. Лучше всего бывало, когда он по вечерам оказывался дежурным и музей был уже закрыт. Он появлялся в длинном мраморном коридоре во всем великолепии, с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и парабеллумом в кобуре, болтающимся на ремне на правом боку; морская фуражка с лакированным козырьком и позолоченным “салатом” скрывала его безнадежно лысую голову. “Здравия желаю, капитан”, – говорил я, ибо таков был его чин; он усмехался в ответ и, поскольку дежурство его продолжалось еще около часа, отпускал меня шляться по музею в одиночестве».

Воспоминание второе

«У меня произошла некая фиксация на университете. Я ходил туда вольнослушателем на разные лекции, но это тоже недолго продолжалось. Помню, пошел на лекцию такого человека по фамилии Деркач, который преподавал советскую литературу, и категории, которые он там употреблял – типа “упадочная литература” и т. п. – вывели меня из себя, и я перестал там появляться. Но тем не менее я познакомился с массой людей… Но это было недолго, продолжалось примерно с полгода. И вообще мне больше всего нравился исторический факультет… Впрочем, я думаю, что у меня была некая аллергия, потому что когда я видел какие-то обязательные дисциплины – марксизм-ленинизм, так это кажется называется, – как-то пропадало желание приобщаться… Но все-таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было. Надолго у меня сохранился этот комплекс».

Воспоминание третье

«У меня были два знакомых художника, у которых была мастерская в совершенно замечательном месте, около Академии художеств. Художники были посредственные, хотя талантливые по-своему, прикладники. Довольно забавные собеседники, ужасно остроумные. И у них время от времени собиралась богема, или то, что полагало себя богемой. Лежали на коврах и шкурах. Выпивали. Появлялись какие-то девицы. Потому что художники – они чем привлекательны? У них же натурщицы есть, да? По стандартной табели о рангах – натурщица, она как бы лучше, чем простая смертная. Не говоря уже о чисто порнографическом аспекте всего этого дела…

В основном шли разговоры, окрашенные эротикой. Такое легкое веселье или, скорее, комикование. И трагедии, конечно же: все эти мучительные эмоции по поводу того, кто с кем уходит. Поскольку раскладка была, как всегда, совершенно не та. В общем, такой нормальный спектакль. Были люди, которые приходили на это просто посмотреть, они были зрители. А были актеры. Я, например, был актером…».

Воспоминание четвертое

«И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой.

Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать».

Моллюск – *Nautilus pompilius* – кораблик обыкновенный.

Вместе с рыбами моллюск плывет на глубине.

Впрочем, все относительно – это *Nautilus pompilius* стоит на месте, а мимо него или даже сквозь него проходит вода.

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Истошно воя, буксир «Флягин» (типа БОР) прошел наконец под Володарским мостом и вдоль Обуховской обороны продолжил движение в сторону Усть-Ижоры. А его надрывный гудок еще долго тянулся над Невой и затихал только, когда захлопывалась дверь в парадной дома на углу Пестеля и Литейного.

Как правило, Александр Иванович оставался очень доволен прогулками со своим сыном по ленинградским улицам, скверам и набережным. Он шутил, пересказывал супруге забавные эпизоды, имевшие место во время прогулки, цитировал смешные фразы Иосифа и похлопывал его по плечу.

Снимал фуражку и протирал ладонью блестящий от пота лоб.

Иосиф Александрович любил повторять: «Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил… и еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический момент, кровный. У Баратынского есть совершенно феноменальное стихотворение… “Запустение”, где он говорит об отце:

Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу».

В родительской комнате над столом уже включена люстра, и потому резкие тени от высоких спинок стульев перегораживают пространство зубчатым частоколом, напоминающим сооружения на площади Сан-Марко с полотен Каналетто.

Интродукция перед Пятым Эпизодием

1 декабря 1951 года в поточную аудиторию филологического факультета Ленинградского государственного университета имени Андрея Жданова вошли трое молодых людей.

На них были длинные, до колен, рубахи, перепоясанные бечевкой, и посконные брюки, а в руках они держали лукошки. Напевая «Лучинушку», молодые люди заняли места ровно напротив кафедры, достали гусиные перья, свитки бумаги, на которых предполагали записывать лекцию по русской литературе, а также деревянные плошки, в которые, ухарски похлопывая друг друга по плечу, они покрошили черный хлеб и стали разливать принесенный с собой квас.

Достали деревянные ложки:

Лучина моя, лучинушка
берёзовая-о.
Что же ты, моя лучинушка,
не ясно горишь.
Что же ты, моя лучинушка,
не ясно горишь,
Не ясно горишь, не ясно
горишь…

Нарочито серьезное и достаточно громкое исполнение песни (в «поточку» стали заглядывать из коридора) сопровождалось театральными телодвижениями и оперными пассами, отсылающими слушателя и зрителя к образу великого Федора Ивановича Шаляпина, который спел «Лучинушку» в 1907 году.

– Да это же троцкистско-зиновьевская провокация! – раздалось откуда-то с «камчатки».

Далее об этом событии читаем в газете «Комсомольская правда» от 11 декабря 1952 года: «Что это? Когда и где происходило? Не далее, как первого декабря этого года на филологическом факультете Ленинградского университета во время чтения лекции по русскому языку (по другой версии это был курс по русской литературе XIX века). Разыграли эту дикую сцену студенты второго курса Михайлов, Кондратов и Красильников.

Однокурсники, естественно, тут же выпроводили их из аудитории. Общественность университета возмутила безобразная выходка юродствующих “оригиналов”.

Возмущались и в комитете комсомола. Возмущались и смущались. Дело в том, что “герои” описанного выше происшествия – комсомольцы, давно уже снискавшие сомнительную славу своими тихими успехами и не в меру громким поведением.

Еще в прошлом году на филологическом факультете стали поговаривать, что студенты Кондратов, Михайлов, Красильников и Сокольников противопоставляют себя студенческому коллективу, держатся вызывающе и надменно. В то время как их товарищи упорно учатся, накапливая знания, эти невежды, вызубрив несколько хлестких цитат, жонглируют ими кстати и некстати, выдавая себя за подлинных ценителей литературы.

При этом их оценка литературных явлений носит определенную направленность: глумясь над священными для нас именами Пушкина и Гоголя, они всячески расхваливают гнилую, растленную поэзию символистов и прочих “истов”. С чьей-то легкой руки шумливых недоучек стали называть “неофутуристами”. Хлесткое словечко, видимо, пришлось им по вкусу. Во всяком случае, они против этого названия не протестовали и старались подчеркнуть свою исключительность. Несколько раз приходилось комсомольской группе обсуждать

поведение Красильникова и его дружков. Но при этом речь шла только о внешней стороне дела – нарушениях дисциплины и срыве установленного распорядка. Руководители комсомольской организации университета, старшие наставники – преподаватели и профессора не помогли комсомольцам дать политическую оценку “шалостям” так называемых “неофутуристов”. А ведь от этих “шалостей” за версту разит душком мелкобуржуазной разнузданности. И надо было раскрыть, какие враждебные нашим взглядам на жизнь идейки маскируют они шутовством. Но в том-то и беда, что в комсомольской организации университета, как, впрочем, и в некоторых других вузах Ленинграда, не привыкли к любым явлениям студенческой жизни подходить со строго принципиальных и четких идейных позиций. За формой, за множеством “массовых мероприятий” вожаки студенческой молодежи упускают главное – заботу об идейной чистоте, о политической закалке будущего специалиста. А такое упущение неизменно дает себя знать».

После короткого и как в ту пору водилось, яростного разбирательства «юродствующие» студенты – Михаил Красильников (1933–1996) и Юрий Михайлов (1933–1990) были отчислены из университета без права восстановления в течение двух лет. Эдуарда Кондратова (1933–2010) – третьего из любителей испить кваса в университетской аудитории и пропеть «Лучинушку» – пощадили и оставили на курсе.

После смерти Сталина, когда, как мы помним, юного Иосифа Бродского ставили на колени в школе в Соляном переулке, «новых неофутуристов» все-таки восстановили на филфаке, и студенческая жизнь «оригиналов» продолжилась. Более того, к компании Михаила Красильникова присоединились новые яркие и талантливые персонажи: Владимир Уфлянд (1937–2007), Сергей Кулле (1936–1984), Михаил Еремин (1936 г.р.), Леонид Виноградов (1936–2004), Александр Кондратов (1937–1993), Лев Лифшиц (Лосев) (1937–2009).

Владимир Иосифович Уфлянд вспоминал: «24 апреля 1956 года мы с нашим замечательным другом Мишей Красильниковым открывали на Неве перед филологическим факультетом купальный сезон. Плыли по Неве льдины, с Ладожского озера, и мы между льдин ныряли. Кто-то стоял наготове с маленькой водки, чтобы нас быстро согреть, если останемся живы».

О филологах-экспериментаторах тогда в Ленинграде говорили многие.

Это и понятно, ведь они прилагали достаточно усилий, чтобы обратить на себя внимание.

Например, молодые люди могли запросто прилечь среди обескураженных прохожих на заснеженный или высушенный летним зноем Невский, чтобы таким образом лучше всмотреться в звездное небо, читая при этом стихи.

Красильников, как всегда, начинал:

Гроза настигла одиноких,
Тоской потасканных прохожих.
На мостовой царили ноги
В непромокаемых калошах.
Они тела несли на ужин,
От ливня крышею накрытый.
А в это время даже лужи
Приобретали лазуриты.
Деревья долго сокрушались,
Что дождь забудет прекратиться.
Их неустанно украшали
Вдали горящие зарницы.
Печные трубы в лентах дыма

Изображали голос альта.
На них глядел неумолимо
Осмысленный зрачок асфальта.
Отвердевали мысли, вещась,
Глаза цветы срывали с веток.
И тротуар, плывущий в вечер,
Устал тонуть в потоке света.

Потом подхватывал Уфлянд:

Крестьянин
крепок костями.
Он принципиален и прост.
Мне хочется стать Крестьянином,
вступив,
если надо,
в колхоз.
Судьба у крестьянина древняя:
жать,
в землю зерно бросать,
да изредка
время от времени
Россию ходить спасать
от немцев, варяг или греков.
Ему помогает Мороз.
Я тоже сделаюсь крепок,
принципиален
и прост.

Так называемый «поэтический круг Михаила Красильникова» (также известный как «филологическая школа») сформировался в Ленинграде в середине 50-х годов и потрясал гуманитарную общественность города на Неве до начала 60-х. Более того, арест Красильникова в 1956 году по статье 58–10 на 4 года (выкрикивал антисоветские лозунги во время демонстрации, посвященной Великому Октябрю) и три года лагерей в Мордовии лишь добавили «филологам» популярности.

Кстати, следует заметить, что, выйдя на свободу в 1960-м году, Михаил Красильников сумел восстановиться в ЛГУ и закончить его.

Отличительной чертой этого «поэтического круга» было равнение на Маяковского с его радикальным призывом «сбросить с корабля современности» устаревшие и закосневшие формы литературного творчества. «Филологи» охотно примеривали на себя маски футуристов и обэреутов, имажинистов и акмеистов, оригинально и вполне остроумно балансируя на грани взаимоисключающих течений и направлений в поэзии. Как правило, чтение стихов друзья Михаила Красильникова (да и он сам, разумеется) сопровождали хеппенингами (флешмобами, как сказали бы сегодня). Вспоминается известное истребление киселя в университетской столовой, когда «филологи» на глазах иных изумленных студентов употребили все запасы этого студенистого кушанья, сопроводив процедуру чтением своих поэтических опусов.

Столь экзотическая, совершенно недопустимая по тем временам манера выражаться была закономерным результатом интеллектуального поиска свободы (как внутренней, так и внешней) – свободы творчества, поведения и мировоззрения.

В своей заметке «Манера выражаться» Владимир Уфлянд писал: «В детстве я понял, что люблю выдумывать. Точнее делать из того, что вижу, нечто мне более по вкусу. Потом заметил, что эти изделия вымысла многим нравятся. Потом обнаружил, что могу рисовать и писать в рифму.

Потом оказалось, что это называется самовыражением.

Самым дешевым способом самовыражения выходило сочинение в рифму. В тюрьме (в 1959 году В. И. Уфлянд провел несколько месяцев в «Крестах» по обвинению в хулиганстве – *Прим. авт.*) мне не нужно было ни бумаги, ни карандаша. Я сочинял в уме. Когда вернулся домой, записал на клочках бумаги. Этому способу самовыражения и предавался, пока не сделал еще одно открытие.

То, что я рисовал на клочке примерно в квадратный дециметр, требовало, чтобы описать в словах, например, на машинке, гораздо больше бумаги. Еще один экономный способ выражаться.

Только позже жизнь вынудила создавать пространные вещи: драматургию, прозу.

И все-таки два самых экономных способа самовыражения остаются моими любимыми: рифмованные тексты и рисунки пером. Тем более, что леса для бумаги и карандашей остается на Земле все меньше.

Более громоздкими способами выражаться тоже овладел. Но прибегаю к ним реже».

Другим полюсом студенческого поэтического движения в Ленинграде стало литературное объединение в Горном институте, которое возглавлял поэт-педагог Глеб Семенов (1918–1982).

В объединение входили Александр Городницкий (1933 г. р), Андрей Битов (1937 г.р.), Елена Кумпан (1938–2013), Яков Виньковецкий (1938–1984), Глеб Горбовский (1931 г.р.), Александр Кушнер (1936 г.р.), Владимир Британишский (1933–2015), Олег Тарутин (1935–2000), Александр Гдалин (1933 г.р.), а также Давид Дар (1910–1980).

В отличие от склонных к эпатажу «филологов», «горняки» более тяготели к теоретизированию, к напряженной, доскональной работе над словом (характерно, что многие из них стали впоследствии профессиональными прозаиками и поэтами) и к предельной детализации, а их литературные собрания более напоминали вузовские семинары с аргументированными выступлениями оппонентов и доброжелательными репликами учителей-наставников.

Читает Глеб Яковлевич Горбовский:

Обломок пня, охапка сучьев,
огня и дыма вороха.
Обсушишь ноги – сразу лучше,
захочешь есть – в реке уха.
Дрожащий свет забрался в зелень
и заблудился в трех соснах.
болотный ветер еле-еле
передвигался, полный сна…
Костер ворчит,
я понимаю:
ведь он живой,
поспать не прочь…
Но как уснуть, когда такая
холодная под боком ночь?

…Костер и я…
На всю округу
нас только двое, два звена,
живых, не признающих сна,
почти похожих друг на друга…

Его сменяет Владимир Львович Британишский:

В столице вдруг похолодало:
дул ветер с северных морей,
из Арктики, из-за Урала,
из заполярных лагерей.
Он прямо в горле грубо комкал
всю ложь и фальшь пустых речей,
он снегом беспощадно колким
хлестал по лицам москвичей.
Весь проволочный, злой, колючий,
как заключенный, как беглец,
всю хрупкость их благополучий
он обнаружил наконец.
Он был кошмаром полуночным,
сплошным клубком запретных тем.
Он теми был уполномочен,
кто без него остался б нем.

Уже находясь в Америке, спустя годы Иосиф Бродский признается: «В геологических экспедициях в ту пору подвизался такой поэт – Владимир Британишский… И кто-то мне показал его книжку, которая называлась “Поиски”… я подумал, что на эту же самую тему можно и получше написать».

По-видимому, будущие геологи, геодезисты, маркшейдеры, газовики и нефтяники подходили к литературному творчеству куда как серьезней (кстати, профессиональные советские литераторы к «горнякам» относились с симпатией, помогали с публикациями, чего нельзя было сказать о «филологах»-авангардистах, чьи выходки порой воспринимались не иначе как юношеский инфантилизм, да и просто хулиганство).

Следовательно, отношения между «кругом Красильникова» и «кругом Семенова» были не самыми теплыми.

Жесткая опека со стороны комитета комсомола ЛГУ (особенно после ареста Красильникова) и чрезмерная серьезность, убивающая живую поэзию питомцев Глеба Семенова, открывали список взаимных претензий «филологов» и «горняков».

Однако Владимир Британишский признавал, что «в университетском лито были разные люди, в том числе талантливые, интересные, достойные, в этом я убедился в декабре 1959-го на вечере университетских поэтов, там я познакомился с Лифшицем (будущим Лосевым – *Прим. авт.*) и услышал Сергея Кулле».

Меж тем насущной проблемой для всех участников этого параллельного официальному литературному процессу движения вне зависимости от их взглядов на творчество была проблема публикаций.

Конечно, читать свои стихи на «квартирниках» и литературных вечерах – это похвально и полезно для стихотворца, но увидеть свои сочинения напечатанными, взять в руки свою книгу или сборник с включенными в него своими стихами, это нечто совсем иное.

Иное ощущение, иной статус, иное позиционирование себя в кругу друзей (и недругов) по цеху.

Владимир Львович Британишский так описывал данную ситуацию в то время: «Студенческое поэтическое движение, естественно, соприкасалось и переплеталось с первыми ростками “самиздата” – рукописными и ротаторными журналами, альманахами, сборниками и с оживлением студенческой стенной печати, существовавшей легально, но вышедшей за рамки и подвергшейся разгрому.

Связь того и другого, и третьего довольно четко прослеживает первый секретарь Ленинградского горкома КПСС И. В. Спиридонов в докладе на пленуме горкома КПСС. Текст доклада печатался в ленинградской газете “Смена” от 14 декабря 1956 года. За молодежь взялись и сразу очень крепко после Будапешта, но все, о чем говорится в докладе, все, на что власти вдруг обратили внимание, появилось раньше, это итог развития двух с половиной лет, 54 – 56-го, развития “по восходящей”. Но обратимся к тексту доклада.

«…Среди некоторой части вузовской молодежи стали проявляться нездоровые настроения. Эти настроения особенно заметны у некоторых студентов, участвующих в работе различного рода литературных объединений, кружков художественной самодеятельности, в выпуске газет, альманахов. Например, группа студентов II курса Института инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова выпустила рукописный журнал “Свежие голоса”. Журнал выступил против социалистического реализма, за так называемую “свободу творчества”».

В этом бурлении творческих страстей (поэты, как известно, люди эмоциональные) шел чрезвычайно важный процесс формирования нового подхода к литературному творчеству – не как к заказу, спущенному сверху, со всеми вытекающими отсюда последствиями (незыблемость редакторской правки, неизбежность вмешательства в процесс создания произведения «третьих» сил, законы цензуры и самоцензуры), а как к глубоко личному, глубинному акту, свободному высказыванию, которое никто не может запретить и тем более контролировать. Разумеется, на рубеже 50–60-х годов этот процесс находился еще в зачаточном состоянии, но уже сам факт того, что это стало возможным, говорил о многом.

20-летний Иосиф Бродский в силу объективных и уже хорошо известных нам причин не попадал ни в ту, ни в другую литературную группировку.

Для «филологов» он был слишком юн и наивен в своих самостоятельных языковедческих штудиях, а для «горняков» слишком юн и дерзок, причем, как всем казалось, абсолютно беспочвенно дерзок, чтобы не сказать нагл.

Ситуацию осложнил один эпизод, имевший место 14 февраля 1960 года на «турнире поэтов» в ДК имени Горького, что у Нарвских ворот. Ведущим мероприятия был Глеб Семенов.

«Турнир» шел своим чередом, и ничто не предвещало конфликта ровно до того момента, когда на сцену не поднялся Бродский.

В свойственной для себя завывающей, медитативной манере он прочитал свое «Еврейское кладбище».

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.

Но сначала платили налоги,
уважали пристава,
и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.
А, возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали…

Молодая аудитория встретила «Еврейское кладбище» с восторгом, однако Глеб Сергеевич выступил неожиданно резко против молодого стихотворца, обвинив его в излишней и неуместной браваде в той области и в той теме, где она категорически недопустима.

Яков Гордин (тоже участник «турнира поэтов») вспоминал: «Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич возмутился тем наивным бунтарством, которое излучал Иосиф, возмутился свободой, казавшейся незаслуженной и необеспеченной дарованиями».

Однако Бродский не смутился и, не желая вступать в словесную перепалку с мэтром, прочел еще одно свое сочинение, которое называлось «Стихи под эпиграфом».

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность —
удел быков…

Зал взорвался бурей аплодисментов, под которые Иосифу уже с трудом удалось довести чтение до конца:

У каждого свой
храм.
И каждому свой
гроб.
Юродствуй,
воруй,

молись!
Будь одинок,
как перст!..
...Словно быкам —
хлыст,
вечен богам
крест.

Эпиграфом к стихотворению стояла латинская поговорка: Quod licet Jovi, non licet bovi – что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Семенов был в бешенстве, свое неудовольствие как от услышанного, так и от поведения этого дерзкого, мало кому известного выскочки выказали и другие «горняки», присутствовавшие на турнире.

Далее, не говоря ни слова, Иосиф спустился со сцены и покинул ДК имени Горького, что только подлило масла в огонь, и дискуссия о его стихах переросла в скандал.

Однако назвать Бродского тогда никому не известным стихотворцем было бы ошибкой. Евгений Рейн, который познакомился с ним в 1959 году, рассказывал, что Бродский часто выступал на всевозможных литературных вечерах, «квартирниках» и в общежитиях, причем порой, читая стихи, он входил в такое экстатическое состояние, что остановить его было уже невозможно. Тогда поэта выгоняли на улицу. Но он не отчаивался и направлялся в другие гости, чтобы продолжить чтение там.

Так было и в тот день, когда он без единого слова вышел из ДК имени Горького и по Розенштейна пошел к Обводному. Ни обиды, ни раздражения на этих людей (на Глеба Семенова, в частности) он не чувствовал. Просто был рад, что ему удалось прочитать два своих текста, и большинству из присутствовавших в зале они понравились. Значит, день прожит не зря.

За этими размышлениями Иосиф вышел к Обводному каналу.

«А ведь это места моего детства», – помыслилось.

Облокотился на парапет, закурил и принялся рассматривать черную воду в расселинах грязного льда, под которым на глубине плыли сонные рыбы.

Наверное, это были те же самые рыбы, что несколько лет назад из-под воды рассматривали 15-летнего Иосифа, который тогда бросил школу и слонялся по пустынной набережной Обводного канала.

На Балтийском вокзале зашел в буфет.

Путевые обходчики мрачно пили пиво и сиплыми, простуженными голосами обсуждали проигрыши «Зенита» в конце прошлого сезона – тбилисскому «Динамо», столичным «Торпедо» и ЦСК МО.

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

Тоже взял пива и пристроился у окна, в которое можно было видеть задворки вокзала, где шла разгрузка товарняка.

Рабочие таскали ящики, ставили их на землю, пинали их ногами, лениво переругивались. По репродуктору сообщили о прибытии на пятый путь почтово-багажного из Пскова.

Поймал на себе благосклонный взгляд буфетчицы и почему-то покраснел. Путевые обходчики тем временем допили пиво и, грохоча кирзовыми сапогами по кафельному полу, стали в молчании покидать буфет.

Вместе с ними на улицу вышел и Иосиф.

В который раз город показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно надуманным, по-февральски болезненным и, конечно, странным.

Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Выходцы из аристократии, дворянства или духовенства, все эти писатели принадлежали, если воспользоваться экономической классификацией, к среднему классу, который почти единственный ответственен за существование литературы где бы то ни было. За двумя-тремя исключениями, все они жили писательством, то есть достаточно скудно, чтобы без комментариев или изумления понимать трудности беднейших так же, как и роскошь тех, кто наверху. Последние привлекали их внимание куда меньше, хотя бы потому, что вероятность присоединиться к ним была гораздо ниже. Соответственно, мы имеем весьма подробную, почти стереоскопическую картину внутреннего реального Санкт-Петербурга, поскольку именно прозябание составляет основу действительности; маленький человек всегда универсален. Более того, чем прекраснее то, что его непосредственно окружает, тем более разителен его контраст с оным. Не удивительно, что все они – отставные офицеры, бедные вдовы, ограбленные государственные чиновники, голодные журналисты, униженные псари, туберкулезные студенты и так далее, – увиденные на фоне безупречно классических, утопических портиков, преследовали воображение писателей и наводняли первые главы русской прозы. Так часто возникали эти персонажи на бумаге, и так много было людей, населявших бумагу ими, и так безупречно владели эти люди своим материалом, и таков был этот материал – слова, – что очень скоро в городе стало твориться нечто странное». И вот теперь, возвращаясь с «турнира поэтов», Иосиф прекрасно понимал, что безупречное владением «материалом» (читай: словом) является единственной для него возможностью постигнуть не только этот непостижимый город, но и окружающий его мир в целом.

Конечно, у каждого разные возможности, исходя из которых вытекают и соответствующие задачи – заработать деньги, стать известным, уехать за границу, нравиться девушкам, постигнуть мир в целом и самого себя в частности. Именно последнюю задачу Иосиф Александрович находил имеющей смысл и актуальной для себя.

Атмосфера поэтического неистовства во второй половине 50-х годов в студенческой среде Ленинграда не могла не накрыть юного Бродского.

По воспоминаниям журналиста, критика театра и кино Натальи Шарымовой, местом частых литературных посиделок в то время были Публичная библиотека на Фонтанке, ресторан «Восточный» и «Крыша».

Также большими компаниями – Виктор Голявкин и Андрей Битов, Сергей Вольф и Сергей Кулле, Владимир Уфлянд и Михаил Красильников, Константин Азадовский и Владимир Британишский, Глеб Горбовский и приезжавший из Москвы Станислав Красовицкий – любили ездить в Солнечное или Комарово, в Пушкин или Павловск.

Иосиф принимал участие в этих поездках и собраниях, однако его знакомства с молодыми поэтами и прозаиками носили, скорее, поверхностный характер, потому что, не найдя своего голоса и не обретя своей интонации, было невозможно на равных общаться с людьми, многие из которых уже неофициально считались классиками неформальной литературы Ленинграда.

Бродский присматривался к этим талантливым и ярким людям, вероятно, перенимая у них стиль и умение себя подать, а также абсолютно святую уверенность в собственной исключительности и гениальности.

При этом чрезвычайно важно было осознание того, что твой путь в литературе должен кардинально отличаться от пути каждого из них, а для этого было необходимо почитать и послушать этих людей, насытиться знанием и атмосферой коллективного творчества, чтобы в какой-то момент сделать шаг вперед и уже больше не оглядываться ни на кого. Как ни странно, в числе поэтов, сформировавших его главный стихотворный вектор, первым Бродский всегда называл москвича Бориса Абрамовича Слуцкого.

В своей книге «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии» Лев Лосев пишет: «Слуцкий открыл свободное пространство между выдохшимися стиховыми формами девятнадцатого века и камерным чистым экспериментаторством. Оказывается, достаточно только чуть-чуть варьировать классические размеры – и стих, не разваливаясь, приобретает гибкость. Бродский начинает, вслед за Слуцким, осваивать нетронутые ресурсы русского классического стиха…

Вообще притворяющийся почти прозой стих Слуцкого насквозь пронизан скрепляющими его ткань поэтическими приемами – аллитерациями, ассонансами, анафорами, парономазиями (сближением слов по звучанию), каламбурами и прочим. Своего рода поклоном учителю, который научил его использовать игровую стихию стиха для серьезных, неигровых задач, служит начало поэмы Бродского “Исаак и Авраам”».

Читаем у Бродского:

По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет – пойди ищи-свищи.
И этой также – капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
что всеми Исааком прежде звалась.
И звук вернуть возможно – лишь крича:
«Исак! Исак!» – и это справа, слева:
«Исак! Исак!» – и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

У Бориса Абрамовича тоже было стихотворение на эту тему:

Прославляют везде Исаака,
Возглашают со всех алтарей.
А с Исаком обходятся всяко
И пускают не дальше дверей…

Известно, что весной 1960 года Иосиф специально ездил в Москву, чтобы познакомиться со Слуцким лично, показать ему свои стихи и выслушать советы человека, чье творчество молодой Бродский определился для себя как целеуказующее.

Это уже потом будет упомянутый выше Евгений Абрамович Баратынский, чтение стихов которого «по-новому», думается, было бы невозможно без творческого и человеческого общения со Слуцким.

В своей книге Лев Лосев пишет: «Самое существенное, однако, что унаследовал Бродский от Слуцкого, или, по крайней мере, от того, что он прочитывал в Слуцком, – это общая тональность стиха, та стилистическая доминанта, которая выражает позицию, принятую автором по отношению к миру».

В 1975 году Иосиф Бродский скажет о своем учителе: «Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов. Он с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное – конечный источник всех трагедий. Этот поэт

действительно говорит языком XX века… Его интонация – жесткая, трагичная и бесстрастная – способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил».

Пожалуй, ключевыми словами тут являются «расскажет, если захочет»! Можно утверждать, что для Иосифа именно эта невиданная ранее свобода стихотворчества перевесила и тематическое новаторство, и языковые открытия, и виртуозное владение словом Слуцкого, не говоря уж об идеологических разногласиях и абсолютно разном их взгляде на жизнь в целом.

Все это было на периферии его творческого сознания.

Находясь уже Нью-Йорке, Бродский рассказывал Соломону Волкову: «Мне кто-то показал “Литературную газету” с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда было лет шестнадцать, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки. Нашел там, к примеру, Роберта Бернса в переводах Маршака. Мне это все ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление».

Удивительно, но именно этот человек – кавалер трех орденов Отечественной войны, ордена Красной Звезды и ордена Знак Почета, медалей «За оборону Москвы» и «За освобождение Белграда», член Союза советских писателей, твердокаменный коммунист, который в 1958 году выступил против Бориса Пастернака и осудил публикацию романа «Доктор Живаго» на Западе, сумел сказать что-то такое, что предназначалось именно недоучившемуся второгоднику, разнорабочему и санитару в морге, истопнику и геологу, начинающему поэту Бродскому.

И что самое удивительное – Иосиф услышал его!

В тот февральский день 1960-го года из ДК, что у Нарвских ворот, Иосиф вернулся домой поздно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.